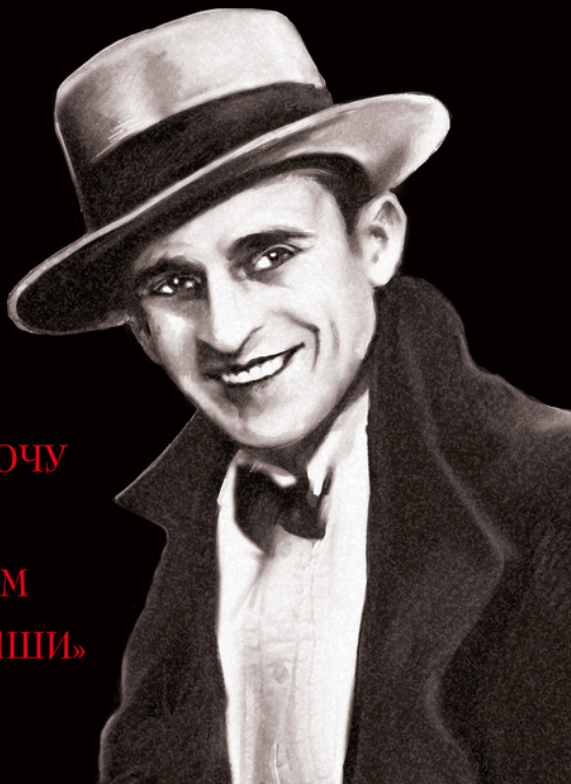


ПЕТР ЛЕЩЕНКО

ИСПОВЕДЬ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



«НЕ ХОЧУ
БЫТЬ
ЛИЦОМ
С АФИШИ»

Петр Константинович Лещенко
Петр Лещенко. Исповедь
от первого лица
Серия «Сокровенные мемуары»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26908118

Петр Лещенко. Исповедь от первого лица: Яуза-пресс; М.; 2017

ISBN 978-5-9955-0956-1

Аннотация

Многие годы имя певца, любимого несколькими поколениями советских (и не только советских) людей, подвергалось очернению, за долгие десятилетия его биография обросла самыми невероятными легендами, слухами и домыслами.

Наконец-то время восстановить справедливость пришло!

Время из первых уст услышать правдивую историю жизни одного из самых известных русских певцов первой половины XX века, патефонной славе которого завидовал сам Шаляпин. Перед нами как наяву предстает неординарный человек с трагической судьбой. Его главной мечте – возвращению на родину – не суждено было сбыться. Но сбылась заветная мечта тысяч поклонников его творчества: накануне 120-летия со дня рождения Петра Лещенко они смогли получить бесценный подарок – правдивую исповедь от первого лица.

Содержание

От редакции	7
Вступление	13
Контузия	16
Кишинев в 1918 году	23
Переезд из Кишинева в Бухарест	36
Парижская «сказка»	59
Наши скитания по Востоку	79
Конец ознакомительного фрагмента.	83

**Петр Константинович
Лещенко
Петр Лещенко. Исповедь
от первого лица**

© ООО «Яуза-пресс», 2017

* * *



От редакции

Петр Константинович Лещенко... Один из самых известных русских певцов первой половины XX века. Неординарный человек с неординарной, трагической судьбой.

Федор Шаляпин называл Петра Лещенко «патефонным певцом», прозрачно намекая на то, что каждый патефон играет его песни. Не то в шутку называл, не то из зависти к популярности Лещенко, которая превосходила (да – превосходила!) популярность Шаляпина. Шаляпинских патефонных пластинок выпущено гораздо меньше, чем пластинок Лещенко.

Большую часть своей жизни Лещенко был на виду. О нем писали газеты, о нем ходило множество самых разнообразных слухов, его имя упоминали в мемуарах, вторая жена певца на закате своей жизни успела написать книгу о нем... Но все то были взгляды со стороны, различавшиеся лишь степенью близости рассказчика к великому артисту. Сейчас же у нас есть возможность ознакомиться с воспоминаниями самого Петра Лещенко, написанными им в 1950–1951 годах. Певец сильно переживал из-за того, что его считали белоэмигрантом или даже – фашистским пособником. Официально обвинение в каком-либо пособничестве фашистам против Лещенко не выдвигалось, но в быту – в разговорах со знакомыми или во время концертов советские граждане ча-

сто спрашивали его о том, почему он эмигрировал в 1918 году, почему не возвращается на родину, как мог он петь «для фашистов» и т. п. На самом же деле Лещенко никуда не эмигрировал. После тяжелой контузии, полученной на фронте в августе 1917 года, прапорщик Лещенко лежал в госпитале в Кишиневе, где он жил с матерью и отчимом до того, как записался вольноопределяющимся в действующую армию. В январе 1918 года Бессарабия была оккупирована румынской армией, а затем присоединена к Румынии. Так Лещенко, вместе со всеми остальными кишиневцами, стал румынским гражданином. После войны он не раз обращался в инстанции с просьбой о предоставлении ему советского гражданства, но эта просьба так и не была удовлетворена. Супругам не разрешали выехать в Советский Союз вместе. Лещенко, как иностранному гражданину, предлагали ходатайствовать о возвращении перед Министерством иностранных дел СССР, а его жене, как советской гражданке, оказавшейся за границей в ходе войны, следовало обращаться в Управление по делам репатриации. Различные сроки рассмотрения дел в разных инстанциях грозили любящим супругам долгой разлукой. Кроме того, высока была вероятность того, что Петру Лещенко могут отказать, а его жену отправят в Советский Союз. Супруги же непременно хотели ехать на родину вместе.

Что же касается «пения для фашистов», то лучше пускай об этом расскажет сам Лещенко.

Воспоминания Лещенко – это пронзительный рассказ о жизни мальчика из бедной семьи, который благодаря своему таланту и упорству поднялся к вершинам славы, стал богатым, но вот счастливым при всем том себя не ощущал никогда. Затаенная боль проскальзывает между строк даже в те моменты, когда Лещенко рассказывает о каком-то счастливом событии из своей жизни. Относительно (не полностью, а всего лишь относительно) счастливым певца можно назвать лишь в последние годы жизни, когда рядом с ним была очаровательная, любящая и преданная Вера Белоусова. Глубину связывавшего их чувства нетрудно представить не столько по тому, что Лещенко пишет о ней, сколько по тому, какие слова и выражения он при этом использует.

Они могли бы жить счастливо долгие годы, вырастить детей, нянчить внуков, но счастье оборвалось 26 марта 1951 года, когда Петр Лещенко в антракте между первым и вторым отделениями концерта в городе Орашул-Сталин (ныне – Брашов) был арестован сотрудниками Департамента государственной безопасности при Министерстве внутренних дел Социалистической Республики Румыния (МВД СРР). Все документы Лещенко, в том числе и неоконченная рукопись его воспоминаний, были изъяты. В июле 1952-го уже советскими органами госбезопасности по обвинению в измене Родине была арестована жена певца Вера Лещенко (в девичестве Белоусова). Вся вина Веры состояла в том, что она вышла замуж за подданного капиталистического госу-

дарства, что квалифицировалось как измена Родине (ст. 58–1 «А» УК РСФСР). В августе 1952 года Вера Белоусова-Лещенко была приговорена к смертной казни, которую заменили 25 годами лишения свободы. В 1954 году она была освобождена со снятием судимости. Вера мечтала встретиться с мужем, но этой мечте не суждено было сбыться. Петр Константинович Лещенко умер в тюремной больнице румынского города Тыргу-Окна 16 июля 1954 года. Место его захоронения неизвестно.

Дело Петра Лещенко со всеми изъятыми у певца материалами хранилось в архиве МВД Румынии до 1989 года. В ходе Румынской революции 1989 года и неразберихи, вызванной сменой власти в стране, архив МВД СРР был частично разграблен. Среди исчезнувших дел оказалось и дело Лещенко. Тот факт, что до сих пор, несмотря на неоднократные просьбы поклонников Петра Лещенко и его жены, дело великого певца так и не стало достоянием общественности, объясняется отсутствием дела в архиве, а не какими-то иными причинами. До сих пор остается неизвестным, какие обвинения были предъявлены Петру Лещенко и состоялся ли суд над ним.

С 1963 года в румынских школах изучение русского языка из обязательного стало факультативным, но тем не менее в 1989 году многие румыны довольно свободно говорили и читали по-русски. Имя Лещенко привлекло внимание, поскольку старшее поколение румын помнило певца. Благода-

ря этому обстоятельству рукопись Лещенко сохранилась до наших дней. Каким-то образом (скорее всего, была куплена у тех, кто рылся в архивах) она попала в руки горячего поклонника творчества Петра Лещенко бухарестского искусствоведа Михая Попеску и стала частью его коллекции, посвященной знаменитому певцу. По неизвестным причинам Попеску не предпринимал никаких шагов для публикации воспоминаний Петра Лещенко. Видимо, для него, как и для многих других коллекционеров, важнее всего было владеть рукописью, а не делать ее достоянием общественности.

К счастью, племянник Попеску, унаследовавший коллекцию после смерти своего дяди, придерживается иных взглядов. «Нельзя скрывать такие документы от общества, – убежден он. – Тем более что сам Лещенко писал воспоминания не для себя, а для людей, стремился рассказать им правду о себе».

Наша редакция выражает признательность господину Теодору Мазилеску за предоставленную для публикации рукопись воспоминаний Петра Константиновича Лещенко. В будущем году исполняется сто двадцать лет со дня рождения великого певца. Вообще-то подарки принято дарить именинникам, но в этом случае сам именинник руками Теодора Мазилеску подарил своим поклонникам бесценный подарок – исповедь от первого лица.

Петр Лещенко пел:

*«Эй, друг гитара.
Что звенишь несмело?
Еще не время плакать надо мной.
Пусть жизнь прошла,
Всё пролетело,
Осталась песня...»*

Пусть жизнь прошла, зато осталась песня.

Вступление

Позавчера мне исполнилось пятьдесят два года. Празднуя свое пятидесятилетие, я почувствовал, что перешагнул через порог, за которым старость. Хожу и напеваю:

*«В жизни всё неверно и капризно,
Дни бегут, никто их не вернёт.
Нынче праздник, завтра будет тризна,
Незаметно старость подойдет»¹.*

Большая часть жизни прожита. Что ждет меня впереди? Тяжело у меня на душе. Мучает неопределенность моего положения. Нашего положения. Что с нами будет? Гляжу на Верочку², и сердце сжимается от боли. Думаю, угораздило же тебя связаться со мной. И сразу ужасаюсь таким мыслям. Что бы я без нее делал? Не могу представить свою жизнь без нее. Она – единственная моя отрада. Награда, которую даровал мне Бог. Пишу эти строки тайком от нее. Дам прочесть, когда закончу, пока пишу, никто, кроме меня, читать написанного не должен. Верочка станет первой читательницей моих воспоминаний. Впрочем, она и так знает всю мою

¹ Отрывок из песни Петра Лещенко «Эх, друг гитара!» (слова В. Тимофеева).

² Вера Георгиевна Лещенко (девичья фамилия Белоусова; 1923–2009) – вторая жена Петра Лещенко, эстрадная певица. (Здесь и далее примечания редактора.)

жизнь. Я рассказал ей все о себе досконально в самом начале нашего знакомства. Не хотел, чтобы она видела во мне «того самого Лещенко». Хотел, чтобы она узнала и полюбила меня настоящего.

Теперь же я хочу, чтобы меня настоящего узнали все. Не хочу оставаться в памяти людской лицом с афиши. Не хочу, чтобы на моей родине считали меня тем, кем я на самом деле не являюсь. От советских граждан я не раз слышал в свой адрес «белоэмигрант». Были слова и похуже. «Вы пели для фашистов!» – бросил мне в лицо генерал Водопьянов³. Не сказал, а бросил, словно перчатку. Я ответил, что пел для русских. Фашисты на мои концерты не ходили. И фашистских песен я никогда не пел. Многие певцы, желая показать свою лояльность, начинали концерты какой-то фашистской песней. Многие, но не Петр Лещенко. Больно ранит меня и вопрос о том, почему я не хочу вернуться на Родину. Его мне задают всякий раз, когда я выступаю перед советскими солдатами. Не хочу... Да я бы птицей полетел, если бы мне разрешили! Я прошу, прошу, прошу, но разрешения все нет и нет. Во время концертов я не могу рассказывать, что и как. А написать об этом можно и должно, чтобы положить конец слухам и домыслам.

Будущее мое туманно. Всякое может случиться. Пока у

³ Михаил Васильевич Водопьянов (1899–1980) – известный советский летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза (1934). Участвовал в спасении экипажа парохода «Челюскин» и ряде арктических экспедиций.

меня есть возможность, я должен успеть рассказать правду о себе, начиная с того, как я стал «белоэмигрантом», и заканчивая нынешним днем. Если нам улыбнется счастье, то последняя строка будет написана уже не в Бухаресте, а где-нибудь в Советском Союзе. Очень на это надеюсь.

Шаляпин однажды сказал мне, что, несмотря ни на что, мечтает умереть на родине. У меня та же самая мечта. Но до этого я еще надеюсь пожить на родине и мечтаю объехать с гастролями весь Советский Союз. Всюду хочется побывать. Мечтаю, чтобы у нас с Верой были дети. Но мои мечты пока еще остаются мечтами. В моем положении о детях и думать нечего. А между тем мне уже пошел пятьдесят третий год.

Рассказ о себе я начну с августа 1917 года. Тогда в моей жизни произошло неприятное событие, случайным образом определившее ее дальнейший ход.

Контузия

В августе 1917 года меня контузило взрывом снаряда. Проклятый снаряд угодил прямо в наш окоп. Мне повезло, я относительно легко отделался. Семеро солдат моего взвода были убиты осколками, а меня задел только один. Задел, слегка оцарапал руку. Пустячное ранение, которое и ранением назвать язык не поворачивался. Взрывом меня подбросило кверху. Падая, я об что-то ударился головой, скорее всего – о ящик с патронами. Шишка была огромной, в полголовы.

«Повезло вам, прапорщик, – сказал мне врач в полевом госпитале. – Пару недель полежите, а затем вернетесь в полк». Я тоже думал, что мне повезло. А вот солдатиков моих было жалко. Привык я к ним за те четыре месяца, пока командовал взводом. Фронт быстро сближает людей.

Я считал дни, торопился вернуться в полк. Тогда армия раскололась надвое. Одни не желали воевать дальше, другие стояли на том, что воевать надо до победного конца. Я относился ко вторым. Молод был, глуп, ничего не понимал в жизни. Но, как и положено юнцу, считал себя взрослым и мудрым. Как же! Мне уже девятнадцать лет и прапорщик! Я на хорошем счету у начальства! За четыре месяца службы в 55-м пехотном Подольском полку я дважды удостоивался похвалы его командира, полковника Цепушелова. Это обстоятельство позволяло мне питать надежды на внеочередное

производство в следующий чин. Меня заметили, как представится случай отличиться, я стану подпоручиком. Так я думал.

Тогда я считал, что связал свою жизнь с армией навсегда. Записываясь в вольноопределяющиеся, я составил план своего карьерного роста. Согласно этому мальчишескому плану, к окончанию войны я должен был дослужиться до капитана, а то и выше. Во время войны карьера офицера летит на крыльях, если, конечно, он храбр. А в мирное время карьера ползет ползком. Пока идет война, надо пользоваться случаем. Воевать было очень страшно, но я старался перебарывать страх и считался в полку храбрецом и отчаянной головой. То, что я хорошо ладил с солдатами, давало мне возможность не опасаться выстрелов в спину. В 1917 году такое случалось сплошь и рядом. Офицеры, не пользовавшиеся любовью у солдат, опасались их больше, нежели противника.

О певческой карьере я в то время не думал. В 1915 году у меня начал ломаться голос и мне сказали: «Петь пока нельзя, а что будет после – поглядим. Далеко не из каждого способного мальчика вырастает хороший певец». Прежде чем думать о пении, следовало дожидаться, пока установится голос. А чем заниматься в это время? На что жить? Ремесла я никакого не имел, учиться мне было не на что. Война же подводила к мысли о военной карьере. Да и какой юноша хоть ненадолго не мечтал стать офицером? Так, тебе девят-

надцать или двадцать лет, и ты никто. Ничего еще не сделал, ничего еще не добился. А офицер уже фигура уважаемая! Подобные мысли и привели меня в вольноопределяющиеся. Патриотические соображения тоже имели место. Я даже по глупости своей тогдашней радовался тому, что идет война и у меня есть возможность проявить себя.

Вышло все по пословице «бодливой корове бог рог не дает». Контузия погубила мою военную карьеру, а возможно, и уберегла меня от смерти на поле боя. Выше прапорщика мне так и не удалось подняться. После контузии с головой моей происходили ужасные вещи. Она начинала кружиться, стоило мне только встать на ноги. А виски днем и ночью будто сжимали щипцами. Я терпел, надеясь, что вот-вот это закончится. Прошло две недели, три, месяц... Из полевого госпиталя меня перевели в Кишинев. Врачи давали мне пить какие-то порошки, но больше надеялись не на них, а на время. «Время лечит, надо подождать», – то и дело слышал я. Состояние мое улучшалось, но происходило это очень медленно. Только к Рождеству я смог выходить на прогулки один, без сопровождающего. Радости моей не было предела, но тут на меня свалилась новая напасть. Я заболел дизентерией. В то время от этой болезни часто умирали. Все силы выходили из человека с кровавым поносом. Я тоже был на грани смерти. Но все же сумел выкарабкаться из могилы, в которой уже стоял обеими ногами. Произошло это благодаря ангелу, которого послал мне Бог в образе сестрички Катюши Соленко-

вой. Она заботилась обо мне так, будто я был ее родным братом или мужем. При такой болезни, как дизентерия, очень многое зависит от ухода. Катюша меня выходила. Я влюбился в нее. В такого ангела невозможно было не влюбиться. Как только немного оклемался, сделал ей предложение. Сейчас смешно вспоминать об этом. Лежит на койке обтянутый кожей скелет и делает предложение. По-хорошему следовало бы дождаться выздоровления, но мне было невтерпеж. Оказалось, что у Катюши уже есть жених, который служит на флоте. Не знаю, был ли он на самом деле или же она придумала его, чтобы подсластить мне горькую пилюлю. После прихода румын госпиталь был закрыт. Катюша куда-то исчезла, и я ее с тех пор не видел. Но очень надеюсь когда-нибудь встретить ее. Всякий раз вспоминаю Катюшу, когда пою «Голубые глаза». Глаза у нее были цвета чистого неба.

Контузия загнала меня в госпиталь, а дизентерия удержала там до прихода румынской армии в Кишинев⁴. Вот так я стал «белоэмигрантом». На самом деле я никуда не эмигрировал, а оставался на одном и том же месте, в Кишиневе, в госпитале. Но Кишинев вдруг и совершенно для меня

⁴ Кишинев был занят румынскими войсками 13 января 1918 года. Почти за месяц до этого, 15 декабря 1917 года, была провозглашена Молдавская Демократическая Республика. 27 марта 1918 года молдавский парламент Сфатул Цэрий проголосовал за объединение Молдавской Республики с Румынией на правах автономии. Под давлением румынских властей на заседании 25–26 ноября 1918 года Сфатул Цэрий принял решение о присоединении Бессарабии к Румынии без какой-либо автономии.

неожиданно стал Румынией, а я стал румынским подданным.

Кишинев, в который меня привезли в младенческом возрасте, я считал своей родиной. Здесь жила моя семья – мать, отчим и недавно родившаяся сестренка Валя. Уехать из Кишинева куда-то, бросив их, я не мог. Уезжать – так всем вместе. А куда уезжать? Кругом творилось черт знает что и никто из нас (меня, матери и отчима) не понимал, что происходит. Вдобавок у матери на руках была Валя. Куда поедешь в столь смутное время с ребенком на руках? И на какие средства куда-то ехать? Я не пытаюсь оправдаться. Я просто хочу объяснить, что в 1918 году наша семья не имела возможности уехать из Кишинева куда бы то ни было. Не и-ме-ла!

Никуда мы на самом деле не эмигрировали. Все решилось за нас и без нашего участия. Нашего мнения никто не спрашивал. Жили мы в России, но вдруг оказались в Румынии. Вот и вся наша «эмиграция».

Мои тогдашние политические взгляды походили на крошку. Всего понемножку и хорошо перемешано. Монархистом я никогда не был, даже в то время, когда на троне сидел Николай Второй. Мне всегда казалась глупостью передача власти по праву рождения. Так можно передавать имущество, но не власть. А вдруг дурак в царской семье родится – что тогда? Он все равно станет царем? В божественную природу царской власти я никогда не верил. Мое убеждение таково – правителя должен выбирать народ. Февральскую революцию я встретил с большим воодушевлением. Нам, уча-

щимся школы прапорщиков, не дозволялось участвовать в митингах, но мы все равно ходили на них с красными бантами на шинелях. Радовались тому, что царь отрекся и теперь все равны. О том, какая из политических партий права, а какая – нет, я тогда не задумывался. Знал только лишь то, что категорически не приемлю монархистов и анархистов. Анархистов я не понимал. Мне казалось (и сейчас кажется), что они сами не понимали, чего они хотят. Всем анархистам, которых я знал, хотелось только одного – пограбить вволю. Это мне не нравилось. Признаюсь честно, что глубоко в политику я не вникал. Голова шла кругом. Вдобавок я убежден, что каждый должен заниматься своим делом. Как хорошо сказал Крылов: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник, их дело не пойдет на лад»⁵. Я пою, поскольку умею петь, но вряд ли я смог бы выступать на митингах или заседать в парламенте. Пусть это делают другие, у которых хорошо получается.

Я не вникал в тонкости политики, а просто верил, как верили многие в то время, что после Февральской революции жизнь изменится в лучшую сторону. Октябрьская революция произошла, когда я валялся в госпитале. Сведений о ней до нас поначалу доходило мало, и были эти сведения отрывочными, искаженными. Снова что-то произошло в Петер-

⁵ Лещенко искажил цитату из басни Ивана Андреевича Крылова «Щука и кот». На самом деле там сказано не «их дело не пойдет на лад», а «и дело не пойдет на лад».

бурге, а что именно – непонятно. Лишь много позже я разобрался, что к чему. Но к тому времени из Румынии в Советский Союз уже нельзя было переехать только лишь по одному своему желанию. Впервые желание жить в Советском Союзе посетило меня в 20-е годы. Я понимаю, что неисполненное желание ничего не стоит. Но если желание было, то о нем следует написать. Такая огромная страна, как Советский Союз, – это же мечта для любого артиста. Можно ездить с гастрольями по ней бесконечно. Какие просторы! Сколько зрителей! В отличие от Шаляпина, которого слушают даже те, кто русского языка не знает, мне нужна русская публика. Я хорошо себя чувствую только среди русских. Я так и пишу в каждом своем заявлении, передаваемом в советское посольство: «Хочу жить и петь на родине». Между словами «жить» и «петь» можно смело ставить знак равенства. Песня для меня все равно что жизнь. Я не представляю себе жизни без песни. Не знаю, что буду делать, если вдруг перестану петь. Наверное, сразу же умру от тоски. Сейчас даже смешно вспоминать о том, что когда-то я хотел быть военным.

Кишинев в 1918 году

Те годы были трудным, тяжелым временем. Никто в Кишиневе не ожидал от румынской армии ничего хорошего. Но в действительности все оказалось хуже ожидаемого. Как только румыны заняли Кишинев, генерал Броштяну объявил в городе осадное положение и наделил армию с жандармерией неограниченными полномочиями. Моя бедная мама ужасно волновалась за нас с отчимом, несмотря на то что ей нельзя было волноваться. Она кормила Валю, а от волнения пропадает молоко. За меня мама волновалась потому, что я был прапорщиком русской армии, врага армии румынской. Вспомнит какой-нибудь офицер или солдат о том, как его ранило на фронте, или брата своего убитого вспомнит и застрелит меня со злости. Отчим вынуждал ее волноваться тем, что был зубным техником. В глазах общества зубные техники выглядели обеспеченными людьми, у которых непременно припрятано золотишко. Вдруг кто-то позарится, начнет искать повод для того, чтобы придраться и устроить обыск. Нашего соседа, тихого старичка-ювелира, арестовали якобы за «агитацию», а на самом деле для того, чтобы иметь возможность его ограбить. Отношения между румынской армией и жителями Кишинева были крайне неприязненными. На фоне этой неприязни смешно звучали разглагольствования политиков и генералов о «сердечной братской любви» и про-

чих теплых чувствах между румынами и бессарабцами.

Дела отчима, и без того не очень хорошие, из-за всех происходивших событий пришли в упадок. Он зарабатывал какие-то гроши, которых едва хватало на пропитание и самые насущные нужды. Доходы падали, а цены все росли и росли. Выйдя из госпиталя, я сразу же принялся за поиски работы. Голос у меня к тому времени уже установился и окреп, но одного умения петь было мало. Для того чтобы найти место, певцу нужны кое-какие связи и репутация. У меня же ни того, ни другого не имелось. Кем я был тогда? Меня спрашивали: «Где вы пели?» Я отвечал: «В архиерейском хоре, давно, еще до войны». – «Что вы делали после?» – «После я был на фронте, а затем лежал в госпитале». Люди морщились и не всегда снисходили до того, чтобы послушать мое пение. А если и снисходили, то говорили: «Допустим, голос у вас есть, но кроме голоса нужно же еще и вид иметь». Для того чтобы выступать в приличных местах, нужно было иметь соответствующую экипировку, а у меня из всей одежды были только поношенный костюм и такое же поношенное пальто. Одежду мне на последние деньги купила мама, когда я вернулся домой из госпиталя. Ей не хотелось, чтобы я ходил по городу в русской военной форме, пускай и без погон. Мама продала старьевщику мою военную форму, которая за время, проведенное в госпиталях, сильно истрепалась, добавила то, что было отложено на черный день, и одела меня. Отчим был сильно этим недоволен. Между нами никогда не

было особой приязни. Поначалу я его сторонился, а он старался меня не замечать. Я не мог забыть, как когда-то, еще до войны, он выгонял меня из дому. Мать мою эта неприязнь между мною и отчимом сильно огорчала. Ради мамы я пошел на уступки. Я видел, как она радуется тому, что у нее теперь есть муж, и не хотел разбивать ее счастье. Долгожданное, выстраданное счастье. Вряд ли стоит объяснять, как в обществе смотрят на одинокую женщину, имеющую ребенка неизвестно от кого. Особенно в таком полном предубеждений и чванства обществе, как в дореволюционном Кишиневе. У отчима, видимо, имелись схожие побуждения – ладить со мной ради спокойствия в доме. Так между нами установился тот худой мир, который, как известно, лучше доброй ссоры. Но я всегда знал, что ни на какую поддержку или помощь с его стороны мне надеяться не стоит. Он чужой мне человек. Мы друг другу чужие. До прошлого года я старался не афишировать это обстоятельство, но теперь уже не считаю нужным скрывать. Все могу простить людям, но только не подлость. Раскаявшегося вора или даже убийцу можно простить, но подлеца – никогда. В свой черед я расскажу о подлом поступке моего отчима, который имел место в годовщину маминой смерти. Сейчас же скажу, что до тех пор, пока ко мне не пришли слава и деньги, отчим меня терпел, мирился с моим существованием. «Что поделаться, если уж угораздило жениться на бабе с ребенком», это его собственные слова, которые я хорошо помню, поскольку они

повторялись не раз и не два. Он же сейчас утверждает, будто никогда ничего подобного не говорил. Когда же нелюбимый и кое-как терпимый пасынок вдруг стал знаменит, отношение изменилось. Отчим начал мною гордиться. Мне это казалось странным, поскольку, на мой взгляд, гордиться можно только тем, к чему ты причастен. Как можно гордиться тем, ради чего ты и палец о палец не ударил? Но я не возражал. Напротив, я радовался тому, что наши отношения потеплели, и видел, как радуется этому мама. Отчим охотно давал интервью журналистам, тем более что ему за это хорошо платили. Очень скоро в этих интервью слово «отчим» заменилось на слово «отец». Признаться, я был крайне удивлен, когда прочел в газете, что мой отец учил меня музыке и пению, купил мне гитару и всячески пестовал мой талант. Я спросил у отчима, он ли рассказал эту чушь или ее выдумали журналисты. Он со смехом ответил, что журналист так просил рассказать что-то «умилительное», так умолял, что мой «добрый» отчим пошел ему навстречу и рассказал то, чего на самом деле не было. Я не стал опровергать его рассказ. У меня и мысли такой не было. Выступить с опровержением означало трясти на людях грязным бельем, что совершенно не в моих привычках. Да и выглядело бы это не лучшим образом. В глазах общества я выглядел бы неблагодарным человеком. Верят в подобных случаях чаще отцам, нежели детям. Но всякий раз, когда при мне поминают «гитару, купленную отцом» или что-то подобное, я испытываю неприят-

ное чувство. Ложь вообще действует на меня не только психически, но и физически. Сталкиваясь с ложью, я испытываю гадливость, как будто наступил в грязное.

Формально мой отчим был прав. Взрослый двадцатилетний парень должен обеспечивать себя самостоятельно. Не в оправдание себе, а всего лишь правды ради напомним, что в тот момент я только что вышел из госпиталя, где провел полгода. У меня были особые обстоятельства. Из первых же своих заработков я покрыл матери то, что она истратила на меня.

Обежав несколько раз весь Кишинев, я нашел кое-кого из знакомых довоенной поры. Сережа Кочергин, с которым мы вместе пели в хоре, пристроил меня петь в только что открывшееся кабаре «Черная роза» и одолжил мне по старой дружбе немного денег для того, чтобы я смог одеться для сцены. Условия в «Розе» были кабальными, много хуже, чем в других местах. Владелец, некто Павловский, выкrest из Бердичева, объяснял плохие условия тем, что сильно издержался, открывая дело, и теперь вынужден экономить на всем, в том числе и на плате актерам. «Павловский – плут, каких мало, – сказал мне Сережа. – Но он ставит дело на широкую ногу и умеет завлечь публику. Это хороший шанс для тебя». Я был согласен. Надо же где-то начать, чтобы заявить о себе, показать себя публике. Я понимал, что начинающему артисту, человеку без имени, нечего рассчитывать на хорошие условия. Что заплатят, то и хорошо, лишь бы только

иметь регулярный заработок.

Сережа не ошибся. Павловский начал хорошо. Несмотря на то что подобных кабаре в Кишиневе в то время было предостаточно, публика к нему ходила. В первую очередь из-за того, что Павловский понимал, зачем люди ходят в кабаре, и предоставлял публике все виды развлечений, начиная с девушек и заканчивая кокаином. Он вообще был и плут, и хват, и черту брат. Не упускал никакой возможности заработать. Из-за этой своей неразборчивости Павловский и пострадал. Мало ему было кабаре, так он ввязался в какую-то авантюру с поддельными бразильскими бриллиантами, из-за чего был вынужден спешно бежать из Кишинева. «Роза» закрылась, не просуществовав и двух месяцев. Артисты и служащие остались на бобах. Павловский никому не заплатил полностью за первый месяц. Отнекивался, придумывал отговорки, давал какую-то мелочь, чтобы отделаться. Можно считать, что я прослужил у него два месяца даром. Даже рекомендовать себя как певца и танцора не успел.

Отчаяние мое было велико. Известности в «Розе» я приобрести не сумел и ничего там не заработал. А ведь на мне висело уже два долга, а не один. Я был должен матери и доброму Сереже. Чертов Павловский! Я так мечтал однажды встретить его и хорошенько проучить по-цыгански. Цыгане таких мошенников учат кнутом и правильно делают. Пощечина для бессовестного человека что комариный укус, а вот кнут – это хорошая наука. Но не встретил я его и, навер-

ное, не встречу никогда.

Отчим смотрел на меня волком, мама днем вздыхала, а по ночам плакала, а сам я был согласен на любую работу. Да – на любую, хоть грузчиком, правда, грузчик из меня получился бы никудышный, поскольку статью я не вышел. Ловкости у меня всегда было больше, чем силы. В мальчишеские годы я любил подраться и часто выходил победителем, но побеждал за счет ловкости.

Состояние мое в то время было ужасным. Годом раньше я был русским офицером, командовал взводом, чувствовал себя если не важной птицей, но хотя бы, значимым человеком. А теперь я никто. Жалкий, несуразный, неприкаянный, никому не нужный. Жалеть себя – недостойное и невыгодное занятие, но в то время я предавался ему очень часто. Было такое впечатление, будто мир рушится. Я совершенно пал духом, считал себя неудачником. На фронте вместо чинов и наград «выслужил» контузию. В Кишиневе творится черт знает что. Работы нет. Отчим постоянно попрекает. Мать жалко.

По соседству с нашим домом находилась столярная мастерская Остапа Дроботенко. У меня и в мыслях не было искать там работы, потому что столярного ремесла я не знал совершенно. Но однажды Остап сказал моей матери: «Сынок ваш без дела слоняется, а мне помощник нужен». Так я стал столярничать. Освоился быстро и даже полюбил это занятие за приятный запах дерева, которым была пропитана

мастерская. В отличие от Павловского, Остап платил честно и своевременно. В придачу к жалованью я получал чаевые, когда выполнял работу у кого-то на дому. Помню, как однажды в Константинополе я поразил гостиничную прислугу тем, что собственноручно починил подломившуюся ножку кресла. Столяр-турок, придя в мой номер, разложил на полу свой инструмент и ушел. Я удивился, но портье объяснил мне, что наступило время молитвы. Наступило так наступило. Со скуки я взял в руки молоток и сам не заметил, как все починил. Много лет прошло после работы у Остапа, но мои руки не забыли ремесла. Вернувшийся с молитвы столяр уважительно покачал головой, глядя на мою работу, а затем озабоченно спросил, заплачу ли я ему за труды. Платить, по существу, было не за что, ведь он только инструмент успел разложить, но я заплатил не только что было положено, но и добавил сверх того. Вспомнил, как мне тоже, бывало, за какой-нибудь пустяк, который и работой назвать было нельзя, давали щедрые чаевые. Остап на это говорил: «Лучше сделать на копейку и получить рубль, чем сделать на рубль и ничего не получить».

От хождения по домам с тяжелым ящиком мне вышла неожиданная польза. Во время работы я имел привычку тихонечко что-нибудь напевать. Один из клиентов, у которого я чинил обеденный стол, заинтересовался моим пением. Мы разговорились. Клиент, которого звали Иваном Антоно-

вичем, оказался регентом из храма вмч⁶. Феодора Тирона, который по фамилии семьи ктиторов⁷ Чуфля в народе звали Чуфлинским⁸. В храме этом мне бывать приходилось, но с Иваном Антоновичем я раньше знаком не был.

После того как стол был починен, Иван Антонович усадил меня за него пить чай и начал расспрашивать. Проговорили мы долго, благо других дел в тот день у меня уже не было. Уселся за стол я столяром, а встал из-за него подрегентом⁹. Мне подобная метаморфоза очень понравилась. Я тепло распрощался с Остапом, о котором до сих пор вспоминаю с глубочайшей признательностью. Вместо меня этот добрый человек мог бы нанять умелого, опытного работника. В умельцах тогда недостатка не было. Только свистни, и сразу дюжина голодных умельцев прибежит. В 1918 году в Кишиневе очень трудно было найти работу. Но Остап взял именно меня, неумеху, желая по-соседски мне помочь.

Я не могу назвать себя щедрым или благодетельным, но я никогда не прохожу мимо человека, находящегося в стес-

⁶ Великомученика.

⁷ Ктитор (*устар.* – «здатель») – лицо, выделившее средства на строительство или ремонт православного храма (монастыря) или на его украшение иконами, фресками и т. п.

⁸ Чуфлинская церковь, официально именуемая соборным храмом Феодора Тирона, построенная на средства купцов Анастасия и Феодора Чуфля в 1858 году, сохранилась до наших дней. В 2002 году при храме Феодора Тирона был учрежден женский монастырь.

⁹ Подрегент – помощник регента.

ненном положении. Если имею возможность, то помогаю. В память об Остапе, Иване Антоновиче и многих других людях, которые помогали мне. Непременно постараюсь упомянуть в своих воспоминаниях о каждом из них.

В ноябре 1918 года Бессарабия окончательно стала одной из румынских провинций. Простые люди к тому времени устали от болтовни политиков и постоянных митингов, которые устраивали то сторонники автономии, то ее противники. Военно-полицейская вольница закончилась, снова начали действовать законы и вообще к весне 1919 года у всех нас появилось такое ощущение, будто жизнь налаживается.

Меня тяготило чувство оторванности от России. Я чувствовал себя отрезанным ломтем, несмотря на то что жил в моем родном Кишиневе. Я всегда был и, несмотря на мое румынское подданство, остаюсь русским человеком, русским патриотом. Допускаю, что у кого-то из читателей это мое утверждение может вызвать недоверчивую усмешку, но это так. При желании я мог бы без труда сразу же по окончании войны перебраться в американскую зону¹⁰ с Верочкой и затем уехать в Америку. В Европе Америка считалась сказочной страной, в которой исполняются все желания, даже самые несбыточные. Америка была страной, которую не тронула война. Но я никогда не думал о том, чтобы стать аме-

¹⁰ Имеется в виду так называемая «американская зона оккупации Германии» – территория фашистской Германии, находившаяся по окончании Второй мировой войны под управлением американской военной администрации. Существовала с 1945 по 1947 год.

риканцем. Меня приглашали переехать в Париж, но я не поехал. У меня одно желание, я хочу вернуться в Россию, в Советский Союз. Хочу и очень надеюсь на то, что мое желание наконец-то исполнится.

В 1918 году доходившие до нас слухи о том, что происходит в России, были страшными, мрачными. Каких только ужасов не рассказывали! Румынские власти намеренно этому потворствовали, писали в газетах невесть что, поскольку в январе того года молдавские власти позволили румынам оккупировать свою только что провозглашенную республику в страхе перед Красной армией. «Лучше румыны, чем коммунисты», считали в Сфатуле. Далеко не все в Кишиневе были рады такому повороту дел, поэтому румынская пропаганда раздувала и преувеличивала все плохое, что говорилось о Советской республике. Превзойти их во лжи удалось только Геббельсу, но Геббельс вообще не думал о том, чтобы сказанное им походило на правду. Он считал, что любая многократно повторенная ложь может казаться правдой. Румыны ввали сдержаннее. Молочных рек с кисельными берегами не обещали, но обещали обеспечить всех бессарабцев работой и еще обещали низкие цены. Цены в то время росли как на дрожжах.

Что я стану делать дальше, я в то время не понимал. Планов у меня не было, каких-либо перспектив тоже. Я помогал Ивану Антоновичу, а также был регентом хора в Ольгин-

ском приюте¹¹, куда меня устроил мой благодетель. Должен признаться, что регент из меня был никудышный. Это занятие мне не подходило, ведь регенту положено быть строгим. Вот даже добрейший мой Иван Антонович дома был мягок и уступчив, а как встанет перед хором, да как посмотрит из-под нахмуренных бровей, так оторопь берет! Всем сразу становится ясно, что вольностей и шалостей он не дозволит. А у меня дети делали что им вздумается, разве что только на головах не ходили. Не я из них веревки вил, как положено регенту, а они из меня. Мне было их жаль, несчастных сироток. Я сам безотцовщина, считай, что наполовину сирота. Хлебнул горя досыта, большой ложкой. Но у меня была любящая мать, а у приютских никого не было. В Ольгинский приют обычно брали тех, у кого не только отца и матери, но теток с бабками тоже не было. Обычно наши спевки заканчивались тем, что я начинал тихонечко петь что-то веселое, чтобы повеселить моих сироток. Хоть и тихонечко я пел, а церковный староста Пршеменский все слышал. Вредный был старик Пршеменский. Мне сделает выговор при детях, а затем Ивану Антоновичу нажалуется на меня, дескать, никакого благолепия от такого регента и толку тоже никакого.

¹¹ Для детей-сирот, существовавшие в Российской империи с 1895 по 1917 год и названные в честь святой Ольги. Первый из них был учрежден в 1895 году императором Николаем Вторым в ознаменование рождения дочери, великой княжны Ольги Николаевны. В 1910-м в Российской империи существовало 36 Ольгинских приютов (6 – в Санкт-Петербурге, 8 – в губернских городах, 22 – в уездных городах). В Советской России были ликвидированы в 1918–1919 годах.

Иван Антонович только головой качал и говорил: «Эх, Петруша, легкий ты человек». «Легкий» у него означало легкомысленный. Я не спорил, знал за собой такой грех. Я до сих пор «легкий», мне так приятнее.

С Пршеменским мне удалось поладить по совету тамошнего диакона Лукьяна. «Староста, я погляжу, к вам постоянно придирается, – сказал Лукьян. – А вы ему поднесите чарочку, уважьте человека. Уважение любой твари приятно, да и от чарочки староста наш никогда не откажется». Я так и сделал. Угостил Пршеменского раз-другой, и стали мы с ним если не друзья, то приятели, а на приятеля как можно жаловаться? Нельзя. «Не жалуются на тебя больше, Петруша! – радовался Иван Антонович. – Остепенился ты, в ум вошел. Это хорошо». На самом же деле я вел себя так же, как и раньше, по-иному я себя с детьми вести не мог.

Спустя много лет, после одного моего концерта в Черновцах, ко мне подошел хорошо одетый мужчина и сказал: «Петр Константинович, я вас сразу узнал, вы у нас в приюте регентом были». Мне было приятно – надо же, вспомнил!

Переезд из Кишинева в Бухарест

В начале весны 1919 года моя артистическая карьера неожиданно пошла в гору. Поспособствовал этому протоиерей Федор Воловей, весьма уважаемая в Кишиневе личность, епархиальный миссионер. Подозреваю, что участие в моей судьбе он принял по просьбе добрейшего Ивана Антоновича. По его (Воловея) протекции я получил место в известном квартете Долинского. Петь у Долинского считалось делом солидным, и деньги он платил хорошие. Выступали мы много. Именно у Долинского я почувствовал себя настоящим артистом. До этого все было как-то несерьезно, а теперь я выступал не в каком-то кабаре, смахивающем на приют, а в Пушкинской!¹² В самой Пушкинской! Никогда не забуду, как радовалась мама, когда я пригласил их с отчимом на наше выступление. Она сидела в первом ряду и плакала от счастья, а после сказала мне: «Сыночек, я горжусь тобой!»

¹² Пушкинской аудиторией назывался кишиневский театр, построенный в 1900 году по проекту архитектора Михаила Чекеруль-Куша на Пушкинской улице. Это было огромное для того времени здание, в котором помимо вместительного театрального зала имелось множество других помещений, используемых в культурных целях. В середине 20-х годов прошлого века здание Пушкинской аудитории сильно пострадало в результате пожара. После реконструкции в 1939 году в здании разместилась радиостанция «Радио Бессарабии». Во время Второй мировой войны здание было уничтожено. В настоящее время на этом месте находится один из учебных корпусов Молдавского государственного университета.

Не было и не будет в моей жизни более высокой, более дорогой похвалы, чем эти слова. Отчим тоже сказал мне что-то похожее на похвалу, но сказал не от души, а сквозь зубы.

Я часто размышляю о том, как причудливы повороты человеческой судьбы. Взять хотя бы мою жизнь. За каких-то три года, с 1917 по 1919-й, я был прапорщиком, певцом, столярком, регентом и снова певцом... Вдруг превратился в «румына», то есть – в румынского подданного... Чудно все это! Воистину никому не дано знать о том, что ждет его завтра. Поэтому я избегаю строить планы на будущее. Человек предполагает, а бог располагает. В моей жизни все происходило неожиданно. Вдруг в Париже встретил мою первую жену Зиночку. Так же неожиданно получил приглашение выступить в Риге в кафе «А.Т.». Неожиданно записал первые пластинки. Неожиданно встретил Верочку. Я могу думать об одном, строить далеко идущие планы, но неожиданности разбивают эти планы в пух и прах.

В апреле 1919 года я влюбился так сильно, как никогда раньше не влюблялся. Это было не просто любовное чувство, а какой-то пожар в душе. Я умирал, если за день хотя бы раз не видел мою любимую и не перебрасывался с ней хотя бы парой слов. Познакомились мы случайно, так, как описывают в романах. Столкнулись на захолустной Харлампиевской улице, посмотрели друг на друга и оба поняли, что влюбились.

Любимую мою звали Сашенькой. Имя Александра мне не

нравилось. Тяжелое оно и царапает слух. Сашенька – совсем другое дело. Это имя хочется петь. Я ходил по Кишиневу и пел: «Са-шень-ка, Са-шень-ка, Са-шень-ка мо-я!» Сашенька была дочерью владельца антикварного магазина. В гимназическую пору она мечтала стать актрисой. Собиралась ехать в Москву к Станиславскому, чтобы учиться у него, но революция и последующие события помешали исполнению этого намерения. «Ах, как жаль! – сокрушалась Сашенька. – Если бы ты знал, чего мне стоило уговорить папашу! Он долго упрямылся, но наконец согласился и даже пообещал мне небольшое содержание на время учебы. И вдруг – сначала одна революция, затем другая... Крах всех надежд!»

Я утешал ее и говорил, что самое главное – это стойкость в намерениях. Рано или поздно все сбудется. «Где сбудется?! – волновалась Сашенька. – В Бухаресте? Так я совершенно не знаю румынского! Могу играть только на русском или французском. Но в Париже, говорят, сейчас очень много русских актрис. Да и не отпустит меня папаша в Париж в такое время». «Одну, может, и не отпустит, а со мной, то есть – с мужем, отпустит», – думал я, рисуя в воображении какие-то невероятные картины нашего счастья. Мы поженимся, уедем в Париж или хотя бы в Бухарест, я стану петь, а Сашенька – играть. Мы прославимся, станем богатыми и знаменитыми, у нас будет много детей и первой родится девочка, как две капли воды похожая на Сашеньку...»

Мечты мои так и остались мечтами. Сашенькины родите-

ли были против того, чтобы их единственная и обожаемая дочь выходила замуж за «какого-то босяка». Так называл меня ее отец. В молодости я был наивным и верил в то, что любого человека можно переубедить при помощи разумных доводов. Набравшись храбрости, я явился в магазин Сашенькиного отца, где можно было поговорить с ним без помех, и изложил ему все свои доводы, казавшиеся мне весьма разумными и убедительными. Доводы эти были таковы. Первое – мы с Сашенькой любим друг друга, а любовь есть не что иное, как дар Божий и высшее человеческое счастье. Второе – будучи артистической натурой, я хорошо понимаю Сашеньку и приложу все усилия для того, чтобы она достигла желаемого, стала знаменитой, признанной актрисой. В то время актерство далеко не у всех считалось почетной профессией. Старые предрассудки еще были живучи, и на артисток многие смотрели примерно так же, как и на проституток. Другой муж мог воспротивиться Сашенькиному желанию, я же его понимал и разделял. Мы даже строили сообща весьма смелые планы, которые заканчивались то Парижем, а то и Нью-Йорком. (О планах наших я Сашенькиному отцу рассказывать не стал.) Третьим, и самым важным, в моем представлении доводом было то, что Сашенька меня любит так же сильно, как люблю ее я, а это означает, что вместе мы будем счастливы. Какой же отец не желает счастья своей дочери? Да, все родители желают счастья своим детям, только вот, что такое счастье, каждый понимает по-своему.

К огромному моему сожалению, все мои «убедительные» доводы разбились о фразу, сказанную Сашенькиным отцом с нескрываемым презрением: «Моя дочь за босяка замуж не выйдет!» Так морские волны разбиваются о скалу, оставляя после себя одни лишь брызги. Когда же я попытался настаивать, мне попросту указали на дверь. Это было очень унижительно, меня так и подмывало сказать в ответ что-то резкое, но я стерпел, ушел молча. Я и не то мог вытерпеть ради моей любимой Сашеньки. Спустя неделю я предпринял вторую попытку поговорить с упрямым, но он меня даже слушать не стал. Сказал только: «Разговаривать нам с вами, сударь, не о чем и попрошу мне более не докучать».

Чтобы положить конец «глупостям», так Сашенькины родители называли нашу любовь, Сашеньку отправили в Ревель¹³ к тетке, сестре отца. Я предлагал ей бежать со мной в Бухарест или в Париж. Я был готов сломя голову бежать куда угодно, хоть к черту на рога, лишь бы бежать вместе с моей любимой. Но Сашенька со слезами на своих прекрасных глазах отказалась бежать со мной. У ее матери было большое сердце, и такой поступок дочери мог бы ее убить. То была чистая правда, бедная женщина шагу не могла ступить без одышки. Разрываясь между любовью и дочерним долгом, Сашенька невероятно страдала. Наши последние встречи до ее отъезда в Ревель были для нас обоих сплошной чудовищной мукой. Мы ничего не говорили друг другу, толь-

¹³ Прежнее название столицы Эстонии города Таллина.

ко рыдали, обнявшись. Когда ж Сашенька уехала, Кишинев вдруг стал мне неприятен. Невыносимо тяжело было ходить одному по улицам, где мы ходили вместе с любимой, а в особенности проходить мимо Сашенькиного дома или же мимо магазина ее отца. Но какое-то болезненное желание побуждало меня проходить там чуть ли не ежедневно. Проходить, смотреть и вспоминать. В то время я питался не хлебом, а воспоминаниями о недолгом моем счастье. Я потерял сон, аппетит и само желание жить. Исхудал так, что на меня было страшно смотреть. Мама перепугалась, уж не чахотка ли у меня (тогда многие болели чахоткой), и силком, за руку, отвела меня к доктору Гринфельду, хорошо знавшему нашу семью. Гринфельд осмотрел меня и поставил диагноз: «Меланхолия». Мама немного успокоилась, потому что считала, что от меланхолии не умирают. А я ведь был в таком состоянии, что начал подумывать – уж не застрелиться ли мне? Настолько была не мила мне жизнь. Слава богу, стреляться не стал, передумал, да и не из чего мне было стреляться.

Мне захотелось уехать из Кишинева, где все, казалось, напоминало мне о моем недолгом счастье. Дома мое решение было принято без возражений. Мама надеялась, что смена обстановки пойдет мне на пользу и отвлечет от горьких дум. Отчим был рад от меня избавиться, он рад был сплавить меня куда-нибудь подальше. С глаз долой – из сердца вон. Впрочем, в его сердце для меня никогда не было места. Могу предположить, что там ни для кого, кроме него самого, нет

места. Такой уж это человек, прирожденный эгоист.

«На ловца и зверь бежит» – гласит народная мудрость. Моим «зверем» оказался одессит Данила Зельцер, импресарио. В Кишиневе Зельцера преследовала одна неудача за другой. Отчаявшись делать дела в Кишиневе, он собрался ехать за счастьем в Бухарест. Сколотил танцевальную группу и пригласил в нее меня. Я с радостью принял приглашение. В молодости танцевал я гораздо лучше, чем пел, и был очень выносливым, мог танцевать хоть целый вечер напролет. Впрочем, у Зельцера все были такие, как я – молодые, энергичные, жадные до денег и до славы.

В жизни каждого артиста непременно должен присутствовать человек, который выведет его на большую дорогу. Таким человеком для меня стал Зельцер. Он привез меня из Кишинева в Бухарест, положил начало моей известности и помог завести много полезных знакомств. Разумеется, он всегда помнил и о своей выгоде, о ней он помнил в первую очередь. Зельцер относился к тем людям, которые не упустят своего ни при каких обстоятельствах. Но тем не менее он сделал для меня очень много, и я за это ему безмерно признателен. К огромному моему сожалению, Зельцеру не удалось спастись во время войны, как и многим его соотечественникам. Меня, как человека, имевшего в друзьях и евреев, и цыган, всегда ужасала фашистская расовая политика. Уничтожение врага можно объяснить многими причинами. Но как можно уничтожать мирных граждан, которые, кроме

кухонного ножа, другого оружия сроду в руки не брали, за то, что они принадлежат к другой нации? Я не был пока еще в Советском Союзе, но мне очень многое нравится там заочно, и в первую очередь – советский интернационализм.

В силу своего возраста я не помню погрома 1903 года¹⁴, но ужасных рассказов об этом трагическом событии я наслушался предостаточно. Могу только посочувствовать людям, пережившим этот ужас. В годы войны я всячески старался помогать евреям спастись – прятал их, помогал получать документы с русскими или румынскими фамилиями. Я рассказываю об этом без какой-либо рисовки и не считаю, будто сделал нечто героическое. Я просто делал то, что считал нужным. А как же иначе? Если ко мне приходит человек, которого я знал со времен молодости, и умоляет помочь ему и его семье спастись от гибели, то как же можно ему отказать? Я не мог. Понимал, что рискую, сильно рискую, но не мог отказать. Помогал. Этому способствовали моя популяр-

¹⁴ Имеется в виду Кишиневский погром, произошедший в апреле 1903 года и ставший одним из самых крупных еврейских погромов в Российской империи. В ходе погрома около 50 человек было убито, более 600 ранено. Поводом к погрому послужило произошедшее двумя месяцами ранее в городе Дубоссары близ Кишинева убийство четырнадцатилетнего подростка Михаила Рыбаченко. Впоследствии выяснилось, что убийцей мальчика был его родной дядя, брат отца, а поводом к убийству послужил спор при дележе наследства. Но сразу же после убийства пошли слухи о том, что его в ритуальных целях совершили евреи. Эти слухи всячески раздувала ежедневная кишиневская газета «Бессарабец», возглавляемая известным антисемитом и активным черносотенцем Павлом Крушеваном. Погром состоялся при попустительстве (бездействии) кишиневского губернатора Рудольфа фон Раабена и прочих должностных лиц.

ность и то, что румыны в еврейском вопросе не были такими жестокими, как немцы. Многие чины румынской администрации, к которым я обращался с просьбами, прекрасно понимали, о чем идет речь. Но притворялись, будто не понимают, закрывали глаза и выдавали евреям и цыганам новые «чистые» документы.

Что же касается моих личных отношений с двумя этими нациями, то в четырнадцатилетнем возрасте я был безумно влюблен в цыганку Раду. Так влюбился, что хотел в табор к ней уйти, но меня не взяли. Сказали, что раз я не цыган, то нечего мне делать в таборе. И ее не отпустили, цыганские законы строгие. А когда мне было двадцать семь лет, я чуть было не женился на еврейке Тове Кангизер. Ревность помешала. Това была красавица и кокетка. Вокруг нее всегда вилось множество поклонников. А я хотел быть единственным. Придет время, напишу об этом подробнее.

В Бухарест мы уехали вчетвером – я, Зельцер, Рива Товбик и Давид Кангушнер. Зельцер был не только импресарио, но и артист, пел и танцевал вместе с нами. Баритон у него был красивый, бархатный. У Зельцера я взял первые уроки режиссерского дела.

Бухарест произвел на меня невероятное впечатление. Кишинев – что в Российской империи, что в Румынском королевстве – был городом провинциальным, а тут я попал в столицу! Очувтившись впервые на Каля Викторией¹⁵, я был

¹⁵ Каля Викторией («Calea Victoriei» в переводе с румынского означает: «Про-

поражен не столько ее размерами, сколько ее респектабельностью. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, нет-нет да оживет в душе то первое впечатление. Признаюсь честно, что в свое время Париж не произвел на меня такого сильного впечатления, как Бухарест. Видимо, причина в том, что в Париж я приехал уже из Бухареста, а не из Кишинева и сравнивал два Парижа – большой и маленький¹⁶.

Наша группа звалась «Танцевальной группой Елизарова», поскольку таков был сценический псевдоним Зельцера. Елизаром звали его деда, а русская фамилия была данью тогдашней моды на все русское. Зельцер был очень суеверным человеком. Над ним подсмеивались даже в актерской среде, где у каждого имеется целый воз суеверий. К примеру, я непременно должен выйти на сцену с правой ноги, иначе что-то да случится, какая-нибудь мелкая, но досадная неприятность. Зельцер рассказывал всем, что Елизаров – «удачный» псевдоним, то есть такой, который привлекает удачу. Потому что Елизар переводится как «Бог помог». Планы у Зельцера были грандиозными. Бухарест, Вена, Париж, Нью-Йорк... В Кишиневе раньше про таких говорили: «Собралась баба в Петербург, да от ворот вернулась». Но как импресарио Зельцер поступал правильно. Артистов надо ма-

спект Победы») – центральная улица Бухареста.

¹⁶ Бухарест называли «маленьким Парижем», поскольку после сильнейшего пожара в середине XIX века, который уничтожил треть города, Бухарест начал застраиваться в парижском стиле боз-ар (от *французского* «beaux-arts» – «изящные искусства»).

нить грандиозными перспективами, чтобы они пребывали в восторженном состоянии. Восторг – это кураж, а без куража хорошего выступления не выйдет. Многие для куража пьют, но это плохое дело. Пьяный на сцене выглядит глупо, и публика, глядя на такого ухаря, чувствует себя обманутой. Гораздо лучше, чтобы голову кружили мечты. Вот Зельцер и морочил нам голову Парижем да Америкой, в глубине души сознавая, что дальше Вены мы в самом лучшем случае не уедем. В Вену тогда многие артисты выезжали на гастроли из Бухареста, но для Вены требовались какая-то известность и шик, то есть высокое мастерство вкупе с дорогими костюмами.

Около четырех месяцев мы выступали в театре «Альгамбра». Театр этот в то время пользовался большой популярностью у публики, и мы были бы счастливы «блистать» на его сцене год, а то и два, но у Зельцера вышла ссора с директором театра. Ужасная ссора, скандал на людях с криками и оскорблениями. Едва до рукоприкладства не дошло. Ссора была громкой, а причина, вызвавшая ее, малозначительной, если не сказать – пустяковой. Было оговорено, кому в какую очередь положено выступать. Эти договоренности обычно свято соблюдаются артистами. Дело не только во времени выступления, но и в своеобразной артистической иерархии. Худшие выступают раньше, а лучшие позднее. Публика нуждается в так называемом «разогреве». Чем сильнее она «разогрета», чем сильнее проникнута атмосфе-

рой концерта, праздника, тем лучше, теплее она встречает артистов. Первые два-три номера всегда воспринимаются вяло, без особенного энтузиазма. Чем дальше, тем энтузиазма больше. Нас же по директорскому распоряжению вдруг переставили из середины программы в самое начало без каких-либо объяснений. Выходите, как вам сказано, или уберите вон! Возмутившись, Зельцер отправился к директору и наговорил тому с три короба грубостей. Директор в долгу не остался. Возмущение Зельцера можно было понять, но и директора тоже можно было понять. Какой-то кишиневский «выскочка», которому положено по гроб жизни быть благодарным за то, что ему предоставили возможность выступать на столичной сцене, имеет наглость возмущаться и ставить условия! Гнать его в шею!

Контракт с «Альгамброй» был составлен так, что вся свобода действий оставалась за дирекцией театра. Когда я удивился тому, что хитроумный Зельцер мог подписать подобный документ, Зельцер развел руками и ответил: «Другого контракта они со мной подписывать не стали бы». Нас вышвырнули из «Альгамбры» с дружелюбным напутствием: «Убирайтесь обратно в свой Кишинев, проклятые молдаване!» Но мы остались в Бухаресте. Зельцер знал здесь всех, и все знали его, так что работа нашлась скоро. Мы стали выступать в кинотеатрах перед сеансами. Престижность подобных выступлений была невелика, но доход они приносили хороший. Если подумать и правильно составить график,

то за вечер можно было выступить в трех-четыре-х кинотеатрах. А по воскресеньям мы давали не менее семи выступлений. Наша группа много где выступала, и часто. Не прошло и двух месяцев, как мы прославились на весь Бухарест. В «Альгамбре» мы выступали в числе прочих артистов и на нас не очень-то обращали внимание. В кинотеатрах же мы были единственной группой. Выступать в кинотеатрах с отдельными танцевальными номерами не имело смысла. Мы бы тогда ничего бы не заработали. Беготни вышло бы много, а денег – мало. Публике мы нравились, нас часто просили выступать на бис. Тогда из-за наших выступлений на десять – пятнадцать минут откладывалось начало киносеанса.

Я увлекся работой, и моя сердечная рана начала понемногу заживать. Нет лучшего лекарства от сердечных ран, чем работа. Когда человек занят делом, все остальное отступает в сторону. Время тоже сделало свое дело, время хорошо лечит душевные раны. Я чувствовал себя почти счастливым. Я говорю «почти», потому что полностью счастливым может быть только тот, кто любит и любим взаимно. Любви в ту пору в моей жизни не было. Несколько раз я писал Сашеньке в Ревель, но ответа не получал. Не знаю, доходили ли до нее вообще мои письма. Несколько раз меня посещала мысль о том, чтобы поехать в Ревель, но я отгонял ее. Я знал, что там услышу. То же самое, что и в Кишиневе: «Я не могу, это убьет маму». Где грань между дочерним долгом и любовью? И разве вправе я требовать от Сашеньки подобной жертвы?

А что, если ее мать и впрямь умрет, не вынеся такого удара? Как мы тогда будем жить? Ведь ее тень навечно останется между нами. Нет, если уж не сложилось, то не сложилось. На все воля божья. Так я утешал себя.

Танцовщица из нашей группы Рива Товбик, бывшая любовницей Зельцера, оказывала мне определенные знаки внимания. Это была милая, очаровательная и донельзя легкомысленная девушка, весь смысл жизни которой сводился к тому, чтобы вызывать восхищение у мужчин. Ее нельзя было назвать кокеткой в полном смысле этого слова, потому что кокетки кокетничают с определенной целью, преследуя какие-то выгоды. Рива же кокетничала по велению сердца, кокетничала потому, что не могла вести себя иначе. Среди актрис мне нередко попадались такие особы, весь смысл жизни которых состоял в том, чтобы нравиться мужчинам, нравиться публике. И Това Кангизер, о которой я уже упоминал и еще расскажу, была именно такой. Она хотела только одного – нравиться, быть любимой, вожаделенной, быть объектом поклонения. Это не тщеславие и не гордыня. Это какая-то особая, сугубо актерская черта характера, которой не лишен и я. Если человек не стремится понравиться окружающим, произвести на них впечатление, удивить их, то артиста из него не получится. Какими талантами он бы ни обладал, он должен хотеть нравиться.

Из-за Ривы у меня вышла ссора с Зельцером. Он приревновал Риву ко мне и потребовал, чтобы я ушел из группы.

Я попытался объяснить Зельцеру, что не питаю к Риве никаких чувств, кроме дружеских, и что весь наш роман существует только в его воображении, но потерпел неудачу. Будучи ослепленным ревностью, Зельцер совершенно утратил способность думать. На все мои объяснения он отвечал только одно: «Врешь, подлец!» Поняв, что оправдаться мне не удастся, я был вынужден уйти от Зельцера. Вернее, это он меня выгнал. Ревность – ужасное чувство, которое толкает человека на самые безумные поступки. Зельцер выгнал меня, не имея на тот момент замены. От этого пострадало дело, но ему было на это наплевать. Разум затмила ревность. Беспричинная глупая ревность.

К тому времени я уже хорошо освоился в Бухаресте, завел много знакомых и потому надолго без работы не остался. Уже через три дня выступал в варьете «Фемина» в составе дуэта «Гербер и Гербер». На самом деле Герберов звали Наум Идельсон и Яков Сорока. Наум был из Таганрога, а Яков – из Могилева. С моим приходом дуэт не превратился в трио, а так и остался дуэтом, потому что я заменил часто болевшего Якова. Болезнь у него была обычная артистическая – пьянство. Я стал танцевать, а Яков, когда был в силах, выступал с фокусами, он умел и это. Фокусы в «Фемине» можно было показывать от случая к случаю, а вот танцевальные номера должны были идти каждый день. Странно, но у крепко пьющего Якова руки совершенно не тряслись и фокусы он показывал бесподобно.

В то время я уже начал задумываться о собственной карьере. Прошло то время, когда я выступал только лишь ради того, чтобы хоть что-то заработать. Мне захотелось славы. Захотелось быть на афишах не «Елизаровым» и не «Гербером», а Петром Лещенко. Бог наградил меня звучной, хорошо запоминающейся фамилией. С такой фамилией никакой псевдоним не нужен. Впрочем, было время, когда моя фамилия казалась мне простоватой и я заменил ее псевдонимом «Мартынóвич». Но это скоро прошло.

Вспомнил к месту одну историю. В дореволюционном Кишиневе был чтец-декламатор Владимир Иванов. Он читал хорошо, выразительно, причем мог читать кого угодно, от классиков до декадентов, а это не всем чтецам дано. Настоящая же его фамилия была Наливайко. Все удивлялись, что он выбрал себе такой «тусклый» псевдоним. Мог бы назваться звучно, Аристарховым или, хотя бы, Иванцовым. Загадка.

Мне снились афиши с моей фамилией. Поет Петр Лещенко... Уже в то время я определился и решил, что пение для меня важнее танцев, несмотря на то что танцевал я прилично. Довольны были не только зрители, но и дирекция. Владелец «Фемины» даже предлагал мне сольный ангажемент при условии, что я обновлю программу. Наум с Яковом выступали с одним и тем же набором танцевальных номеров, а публика всегда хочет нового. Я вынужден был отказаться, поскольку не хотел ссориться с моими товарищами. Если бы я принял предложение, то это выглядело бы так, будто я вы-

живаю их из «Фемины». Надо было помалкивать о предложении, тем более что я его не принял, но я по простоте душевной рассказал о нем Науму. После этого наши отношения испортились. Наум начал придираться ко мне по любому поводу и распускать за моей спиной гадкие слухи обо мне. Я понял, что он преследует две цели – хочет избавиться от меня и заодно, на всякий случай, испортить мою репутацию. Согласно нашему контракту, тот, кто разрывал его, должен был выплатить неустойку. Неустойку мне платить не хотелось. К счастью, удалось договориться, что обойдемся без неустойки.

К тому времени я уже успел помириться с Зельцером. Одумавшись, он пришел ко мне, попросил прощения и начал звать обратно. Я зла на него не держал, поскольку понимал, что в момент нашей ссоры он был ослеплен ревностью. Кто на самом деле был виноват, так это Рива. Не следовало ей дразнить своего «гуся». Но тем не менее возвращаться я отказался. Душа не лежала возвращаться туда, откуда был изгнан после скандала. К тому же Рива, вне всяких сомнений, снова бы начала строить мне глазки, что рано или поздно привело бы к новой ссоре с Зельцером. Я сказал Зельцеру, что глубоко признателен ему за все, что он для меня сделал: привез меня в Бухарест, познакомил с нужными людьми и вообще до нашей размолвки был ко мне добр. Но возвращаться не хочу, ибо в одну и ту же воду нельзя ступить дважды. Зельцер меня понял, и на том мы расстались. По-дру-

жески расстались. Имели впоследствии кое-какие общие дела, и никогда больше между нами не пробежала кошка. Рива же вскоре после нашего примирения бросила Зельцера. Какой-то берлинский импресарио пригласил ее в Берлин.

Уйдя от Наума с Яковом, а заодно и из «Фемины», я поступил в труппу Жоржа Бернара. За пределами сцены Жоржа звали Корнелий Присак. Родом он был из Кишинева и взял меня к себе как земляка. Бессарабцы, а в особенности кишиневцы, старались помогать друг другу в Бухаресте. Местные же относились к нам свысока, а то и с презрением, как к убогим темным провинциалам. И всех нас без разбору, будь то молдаванин, грек, русский, еврей или цыган, называли «молдаванами», вкладывая в это слово оскорбительный смысл. Если уж зашла речь о румынском национализме, то скажу, что в Бухаресте он всегда был заметнее, чем в других местах. Любой бухарестский румын с удовольствием расскажет нерумыну о том, что румыны – потомки древних римлян, хранители великой древней культуры и вообще самый лучший народ на свете. Сколько лет я здесь живу, столько лет это и слышу. Отвечаю одно и то же: «Все мы от Адама и Евы произошли, от одного корня». А что еще можно сказать?

Кроме Корнелия, который пел и вел выступления, и меня – танцора и певца – в труппу входили «цыганка» Това Кангизер и комик-куплетист Лева Брик. Красавица Това не только пела цыганские романсы, но могла сплясать что угодно, от «Барыни» до канкана, могла жонглировать и вообще была

мастерицей на все руки. Лева же служил прекрасным примером того, что недостатки можно обратить в достоинства, было бы желание. Внешность у него была такая, про которую говорят: «Не отец с матерью породили, а черт из горшка вытряхнул». Лева был тощим, низкорослым, кривобоким, плешивым и косым. Довершал впечатление огромный нос, который рос не от переносицы, как у большинства людей, а от середины лба. Добавьте к этому скрипучий голос, и вы получите полное впечатление о Лева. Другой человек, имея такие данные, и близко бы к сцене не подошел. Другой, но не Лева. Тот с детства мечтал быть артистом и стал им. Трезво оценив свою внешность, Лева принял единственно верное в его положении решение – стать комиком. Стоило ему появиться на сцене, как в зале сразу же раздавались смешки. А когда Лева начинал петь куплеты, большей частью – непристойные, зрители падали на пол от смеха. Неприличные слова Лева пропускал, но всякий раз в этом месте корчил уморительные гримасы. Одни и те же шутки быстро приедаются, но за два года, проведенных в труппе, я не смог привыкнуть к Левиным номерам. Знаю наперед, что он сейчас скажет или какую гримасу скорчит, а все равно смеюсь, потому что не могу не смеяться. Коронным Левиным номером, исполняемым в паре с Товой, была сцена признания в любви испанского гранда. Стоя на коленях перед Товой, Лева молил ее о взаимности, а когда она говорила: «Нет! Никогда этому не бывать!», потешно закалывался длинной-предлинной шпагой,

которая была длиннее его самого. Эта сцена неизменно исполнялась на бис.

С труппой Жоржа Бернара я объехал всю Румынию. Побывал и в Кишиневе, где произвел огромное впечатление на всех, кто меня знал. Повидался с родными, увидел сестру Катеньку, которая родилась после моего отъезда в Бухарест. Было много радости и много слез. Мама говорила, что мечтает о том, чтобы я вернулся в Кишинев, потому что сильно по мне скучает. Я на это отвечал, что лучше будет им переехать в Бухарест. Возвращаться из столичного Бухареста в тихий скучный Кишинев мне не хотелось. Да и жизнь в Бухаресте была во всех смыслах лучше. Меня неожиданно поддержал отчим, мечтавший о столичных заработках. Я-то думал, что он будет против, но ошибся. Мы договорились, что они переедут в Бухарест позже, через год-полтора, когда Катенька немного подрастет. Она была болезненная девочка, а мама почему-то считала, что в Бухаресте плохой климат. Я объяснял ей, что она ошибается, показывал на карте, что Бухарест находится южнее Кишинева, но переубедить так и не смог. Переезд в Бухарест состоялся не через полтора года, а много позже.

Осенью 1922 года наша маленькая труппа распалась. Тову и Леву сманил к себе бухарестский импресарио Горобец, который сколачивал большую труппу для выступлений в Вене. Будучи не в силах пережить «предательства» Тovy и Лeвы, Корнелий запил. Так я, совершенно неожиданно для себя,

остался и без дела, и без товарищей. Попробовал было начать карьеру певца, договорился с одним импресарио, стал подбирать репертуар, но из этой затеи ничего не вышло. Русских певцов в Бухаресте в то время было столько, что хоть с кашей их ешь. Много артистов эмигрировало из России. А куда податься артисту на чужбине? Только в певцы или в танцоры. Пьес на русском языке в Бухаресте или Париже никто смотреть бы не стал, а вот русские песни слушали с удовольствием. И даже подпевали: «ой мороз-мороз». В Бухаресте одно время было русское кафе, которое называлось «Мороз-мороз», а не просто «Мороз». Часто перед каждой песней конферансье рассказывал, о чем сейчас будут петь, чтобы зрителям был понятен смысл.

Я был расстроен, потому что петь мне хотелось все сильнее и сильнее. Я чувствовал, что пение – это мое призвание. Отзывы о своем пении мне приходилось слышать самые разные, начиная с «очень хорошо» и заканчивая «это никуда не годится». Сам же я не мнил себя лучшим певцом Бухареста, но считал, что пою неплохо. Чтобы разобраться, пришлось обратиться в Королевскую оперу¹⁷. С моей стороны это была большая наглость. Какой-то провинциальный артист является в оперу и просит тамошних корифеев устроить ему нечто вроде экзамена. Но меня приняли хорошо, видимо, уже успели привыкнуть к подобным просьбам, выслушали и вынесли вердикт: голос слабоват, но для салонного пения годит-

¹⁷ Театр «Румынская королевская опера».

ся. Я оценил деликатность. Вместо слова «ресторанное» было сказано «салонное». Впрочем, мне никогда не казалось зазорным выступать в ресторанах. Важно ли, где петь? Нет, важно, как петь! Лучше хорошо петь в ресторане, чем плохо на оперной сцене. К тому же в ресторанном пении есть своя прелесть. Я всегда старался петь так, чтобы люди отложили приборы, перестали разговаривать и слушали мое пение. Петь в ресторане – это хорошее испытание, проверка мастерства. Если тебя слушают, значит, ты чего-то стоишь. Если продолжают есть и беседовать, значит, тебе лучше попробовать себя на ином поприще.

Так и не начав певческую карьеру, я вернулся к прежнему занятию – танцам. Петь мне тоже случалось, но не так уж и много. Это было совсем не то, чего мне хотелось. Так прошло еще два года. Я сменил две труппы и все чаще начал подумывать о Париже. Париж в Бухаресте считался сказочным местом, где меж кисельных берегов текут молочные реки. С восхищением и завистью артисты рассказывали друг другу о невероятно высоких парижских гонорарах, о том, что в Париже каждому артисту найдется дело, а также о том, как кого-то в Париже заметили и сделали ему или ей какое-то невероятно выгодное предложение. Париж в то время считался столицей мира, и все прочие города блекли перед ним. Сказка! Настоящая сказка! Мне очень хотелось в сказку, но отправляться туда в одиночку я не решался. Начал искать компаньонов. Поиски вышли долгими, но наконец-то я догово-

рился с моим земляком Николаем Трифанидисом, которого в Бухаресте знали как Николая Грека. Николай в то время только-только оправился от сильных переживаний. Его бросила любимая женщина, вместе с которой он выступал. Ничто не предвещало беды, и вдруг она ушла к другому. Николай лишился и любви, и работы. Ему уже доводилось бывать в Париже, он имел там знакомства. Ехать с таким компаньоном мне было спокойно. Я предложил Николаю составить дуэт «Братья Трифаниди». Все греческое в то время в Париже было в моде. Последнюю букву фамилии Николая я отбросил для звучности. Николай согласился.

Так осенью 1925 года я попал в Париж, в город моей мечты, в мою вожденную сказку.

Мечты так и остались мечтами, а надежды – надеждами. Но кое в чем поездка в Париж оказалась для меня очень важной.

Парижская «сказка»

В Париже и впрямь несложно было найти работу, особенно тем, кто не отличался чрезмерной разборчивостью. На нечто большее, нежели выступление в ресторанах низшего разряда или в кинотеатрах перед сеансом, никому не известным артистам из Бухареста рассчитывать не приходилось. Мы с Николаем стали танцевать в кинотеатре «Цезарь». Зарботки были выше, чем в Бухаресте, но и парижская жизнь была много дороже, так что, по сути дела, с финансовой стороны мы почти ничего не выиграли от переезда в Париж. Но зато я увидел Париж, который потряс меня своей красотой, и еще я встретил там Тову Кангизер. Това с матерью и младшим братом так же, как и мы, приехала в Париж в поисках счастья. Она рассчитывала на то, что здесь, в самом сердце русской эмиграции, ее, как исполнительницу романсов, примут с распростертыми объятиями. К сожалению, ее надежды не сбылись. Това пела в ресторане на рю де Риволи, куда мы с Николаем зашли как-то вечером после того, как отработали нашу программу в кинотеатре. Я глазам своим не поверил. Това! Вот так встреча! В огромном Париже случайно встретить землячку! Увидев меня, Това просияла и с большим чувством исполнила романс «Побудь со мной!»¹⁸.

¹⁸ Одно из названий известного романса Николая Зубова «Не уходи, побудь со мною».

Я понял, что пела она этот романс для меня, и, пока она пела, я успел в нее влюбиться. Признаться честно, Това и раньше мне нравилась, но то была не любовь, а скорее приязнь и любование. Я любовался ею так, как любят картину или скульптуру. Любовался без какой-либо мысли о том, что можно взять ее за руку, обнять, поцеловать. А тут вдруг сердце мое пронзила стрела Купидона. Непонятно почему. Видимо, сказала радость от неожиданной встречи, да и сама Това подлила масла в пожар, вспыхнувший в моем сердце, своим страстным пением. Она выступала под псевдонимом Антонина Белецкая. Мать Тovy, Фира Янкелевна, аккомпанировала ей. Десятилетний брат Илья тоже работал, в пантомиме. Это был очень талантливый мальчик. Я в шутку называл его «гуттаперчевым». Он мог изгибаться так, словно у него не было костей.

Между мной и Товой вспыхнул страстный роман. Я был уже не мальчик, мне стукнуло двадцать семь, но я совершенно потерял голову от любви. Только удивлялся тому, что раньше, когда мы служили в труппе у Корнелия, я был настолько слеп, что не разглядел в Тове женщину, предназначенную мне судьбой. Мне свойственна определенная восторженность в любви. Стоит влюбиться, как смотрю на женщину совершенно другими глазами. То, чего раньше не замечал, начинает меня восхищать, то, что раньше не особенно и нравилось, начинаю считать достоинством. Надо, конечно же, понимать разницу между влюбленностью и любовью,

глубоким настоящим чувством, которое не просто побуждает смотреть на женщину другими глазами, а озаряет жизнь другим светом. Но настоящая любовь бывает только раз в жизни, если вообще бывает, если судьбе будет угодно свети вместе двух людей, предназначенных друг другу свыше. Я счастлив от того, что в моей жизни есть настоящая любовь, любовь к моей Верочке. Но пришла ко мне настоящая любовь довольно поздно, в возрасте сорока четырех лет. Об этом напишу в свой черед.

Я был влюблен в Тovu без памяти, а она не столько любила меня, сколько позволяла мне любить себя. В Париж Тova, как и все, приехала переполненная надеждами, но здешняя жизнь быстро эти надежды развеяла. Воображаемые толпы поклонников превратились в немногочисленных завсегдатаев заведения, время от времени делавших Тове не очень-то приличные намеки. Известность ее ограничивалась рестораном, в котором она пела. Перспектив никаких не было. И тут появился я...

Тове не нравилось петь в ресторане. Платили ей плохо. Владелец ресторана, эмигрант по фамилии Гукасов, намекал на то, что плата может быть поднята, если Тova будет поуступчивее, а Тova не собиралась ему уступать. Она оставила ресторан. Мы создали новую труппу из пятерых человек – меня, Тovy, с ее матерью и ее братом, и Николая. «Братья Трифаниди» стали «Труппой Трифаниди». Впятером мы могли делать хорошую, как выразался Николай, «богатую»

программу. С такой программой можно было выступать не только в кинотеатрах, но и в варьете. Заработки в варьете были выше, и сам факт выступлений в варьете поднимал наш престиж.

Роман с Товой угас так же быстро, как и вспыхнул. Мы были слишком разными людьми и по-разному смотрели на жизнь. Шансов на то, что мы сможем прожить вместе долгие годы, не было совершенно. Я сильно ревновал Тову, которая, считаясь моей невестой, благосклонно принимала знаки внимания от других мужчин. Я совсем забыл, как недавно осуждал ревнивца Зельцера. Заметив, что я ее ревную, Това не изменила своего поведения. Ей нравилось дразнить меня. «Такой бриллиант, как я, нельзя носить в кармане», – говорила Това в ответ на мои просьбы и упреки. Ей почему-то казалось, что я должен радоваться тому успеху, который она имела у других мужчин. Я же считал, что можно радоваться, когда другие мужчины провожают твою невесту восхищенными взглядами. Но если она позволяет себе принимать приглашения на прогулку или в ресторан от других мужчин, то это уже чересчур. Это неприлично, даже в том случае, если дальше прогулки или совместного обеда дело не заходит. Но у Тovy дело заходило очень далеко. Ей по несколько раз в день передавали записки, которых я, разумеется, не читал, но о содержании их мог догадываться. Время от времени у нее появлялись подарки – серьги, брошь или еще что-то из драгоценностей. На мои слова о том, что

ей просто неприлично принимать от посторонних мужчин столь дорогие подарки, Това смеялась и отвечала: «Ах, Пьер, какой же ты странный...» Я же считал себя не странным, а обманутым. Разговаривать всерьез с Товой было невозможно, она умела любой серьезный разговор свести к шутке. Самой любимой ее фразой была вот эта: «не сердись, на меня нельзя сердиться, ведь я хорошая». Она намекала на то, что имя Това в переводе с еврейского означает «хорошая». Хорошая, не спорю, Това была красивой, умной, талантливой, но ее поведение напрочь перечеркивало все ее достоинства. В моих глазах.

Я нисколько не осуждаю Тovu. У нее был такой вот легкий характер и легкие взгляды на жизнь, которые совершенно не совпадали с моими взглядами. Я хотел быть единственным мужчиной в ее жизни и считал, что на правах жениха имею основания требовать этого. Това же считала, что я тиранию ее, ограничиваю ее свободу. Когда я полностью осознал, что рядом с Товой и после нашей женитьбы будут ро-ем виться поклонники, я сказал, что нам следует расстаться. После драматической сцены, устроенной Товой, мы расстались. Это произошло за неделю до Рождества. Мне было жаль. Я понимал, что ничего путного из нашего романа все равно не вышло бы, но пребывал в печали.

Под впечатлением от разрыва с Товой я сочинил свою первую песню «Не уходи». Исполнять ее я начал много позже, но сочинил в декабре 1925 года. Вспомнил, как в день

нашей встречи Това пела мне «Побудь со мной!», и в голове сами собой начали складываться слова:

*«Тяжкие, нерадостные мысли
Резко мой нарушили покой.
Струны счастья оборвались,
Разошлись мы с тобой.*

*Нет уж тех ночей волшебной сказки
Сон любви рассеялся, как дым.
Взор твой, прежде полный ласки,
Стал тяжелым и чужим...»*

Дальше я просил: «Не уходи, побудь со мной еще минутку...», но это уже были сантименты, положенные для подобной песни. На самом деле я не собирался второй раз наступать на те же грабли. Решение мое было обдуманное и окончательное. Я жалел о нашем разрыве, мне недоставало Тобы, но возвращаться к ней я не собирался. Я понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Любовь к Тове была как болезнь. Мне нужно было переболеть этой любовью.

Наша труппа распалась. Вернее, это я один оказался не у дел. Николай неожиданно назвал меня «ревнивым дураком» и остался с Товой и ее родными. Было понятно, что Това и его пленила своими чарами. «Трифаниди» стали выступать без меня. Я же махнул рукой на все утраченные надежды и начал искать себе новое место. Причем искал не в труппе, а

в качестве артиста-одиночки. Без ложного хвастовства скажу, что в «Труппе Трифаниди» я «тянул» добрую половину всей программы. Опыт у меня был хороший, талант тоже имелся, энергии было не занимать. Ладно, думаю, не пропаду. Меня окрыляло то, что по приезде в Париж мы с Николаем нашли работу в считанные дни. Я надеялся, что и сейчас будет так же, но мои надежды оказались напрасными. Когда я ехал в Париж, то сильно волновался – скоро ли найдется работа? И работа быстро нам подвернулась. Когда же покинул «Труппу Трифаниди», то совершенно не волновался. И напрасно. Я был наказан за свою самонадеянность. Думаешь, что скоро найдешь работу? А вот тебе кукиш! Накося выкуси-ка!

Почти два месяца мыкался я без работы. Истратил до последнего сантима все, что было отложено на черный день. Понемногу потратил и те деньги, которые предназначались на обратную дорогу. Какой-то злой рок преследовал меня. Не найти совершенно никакой работы в Париже! Я был согласен на все, на любые условия, но и «любых условий» не было. Не было ничего. Когда мы расставались с Товой, ее мать в сердцах сказала мне что-то сердитое по-еврейски. Тогда я не придавал этому значения, а после начал подозревать, что она меня прокляла.

Париж, которым я совсем недавно так восхищался, опротивел мне совершенно. Легко восхищаться Парижем, когда живешь в приличной гостинице, ешь досыта и со вкусом и не

считаешь каждый грош. Хорошая жизнь располагает к восхищению городом. Когда же приходится жить в убогой чердачной каморке, завтракать булкой с чаем, ужинать точно так же, а обед из экономии пропускать, ничем уже восхищаться не хочется. Париж стал казаться мне некрасивым, чужим, едва ли не враждебным, настолько я озлобился. Я тогда был зол на весь мир. Злился на тех, кто не хотел заключать со мной контракта. Злился на вероломную Тову, на ее ведьму-мать, на Николая, которого тогда считал предателем. Даже на свою квартирную хозяйку злился за то, что, видя мое бедственное положение, она тем не менее каждую субботу требовала плату и ни разу не дала хотя бы дня отсрочки. А на себя я был зол больше всех. Думал: ну что мне не сиделось в Бухаресте, где я знал всех и меня тоже все знали? Зачем я приехал в Париж? Кому я тут нужен? По нескольку раз в день вспоминал я любимое мамино присловье: «ближняя соломка лучше дальнего сенца». Одно дело – сидеть без работы в Бухаресте или Кишиневе, где много знакомых, где есть у кого занять денег и есть у кого попросить помощи, и совершенно другое дело – сидеть без работы в чужом незнакомом Париже, где никто не мог протянуть мне руку помощи.

На праздник Сретения я был в храме и горячо молил Бога о том, чтобы Он оказал мне милость и помог выбраться из тяжелого положения, в которое я попал, что уж греха таить, по своей глупости. В Париже мне было уже невозможно оставаться. Заканчивались деньги, отложенные на дорогу домой.

Я мог послать телеграмму маме с просьбой выслать мне денег на билет до Бухареста, и она бы мне их выслала сразу же, но возвращаться в Бухарест несолоно хлебавши мне тоже не хотелось. Вдобавок близился Великий пост, «отпускное время» для артистов. В Румынии не было запрета на развлечения во время поста, как это было в Российской империи, но все равно веселая жизнь на это время стихала. Я-то надеялся, что к посту успею хорошо заработать в Париже, и собирался в это время погостить у родных в Кишиневе, но мои надежды не сбылись.

«Господи! – молил я. – Будь милостив, пошли мне хоть какую-то работенку. Чтобы я мог хотя бы дух перевести...»

Вышел я из храма, пошел куда глаза глядят, думая свои горькие думы, и вдруг столкнулся с одним моим бухарестским знакомым, танцором Яшей Шапиро, который выступал под фамилией Вороновский. Мы оба обрадовались встрече. Яша начал расспрашивать меня о делах. Яша был хорошо одет, и вообще по виду его чувствовалось, что он не бедствует, поэтому я попросил дать мне займы денег на возвращение в Бухарест. У меня была репутация человека, который исправно возвращает долги, поэтому я не думал, что Яша может мне отказать. Так и вышло. Яша уже было достал бумажник, но вдруг спросил, почему я собрался возвращаться в Бухарест, когда все едут из Бухареста в Париж. Я ответил, что Париж меня не принял, что мне здесь нет дела, что я уже почти два месяца мыкаюсь без работы. Слово за

слово, я рассказал Яше про все мои парижские злоключения. «Я знаю, что тебе нужно! – сказал Яша, убирая бумажник в карман. – Пошли, тут недалеко!» Он привел меня в ресторан. Я, грешным делом, подумал, что Яша передумал давать мне деньги, но для того, чтобы подсластить отказ, решил накормить меня обедом. Сознать это было очень унижительно. Но оказалось, что я ошибся. Яша повел меня не в зал, а в кабинет к владельцу, старику-французу, и сказал ему: «Вот вам, месье Добер, человек на мое место. Это Пьер, лучший танцор Бухареста. А как он поет! Поет он просто замечательно!» Признаться, я от подобной рекомендации опешил. Ресторан на вид французский, владелец – француз, а я в то время объяснялся на французском с акцентом. Позже я избавился от него. Как я могу здесь петь? Но оказалось, что у месье Добера собирается богатая эмигрантская публика, из тех, кто с молодых ногтей привык к французской кухне и никакой другой знать не желает. А вот песни эта публика желает слушать русские. А еще оказалось, что Яша проработал у месье Добера больше года, а на днях взял расчет, потому что старинный приятель пригласил его в Амстердам. Яшиной рекомендации оказалось достаточно для того, чтобы месье Добер сразу же подписал со мной контракт, да вдобавок на таких условиях, о которых я и мечтать не мог. И даже аванс выдал, что было просто неслыханно. Тем, с кем только что познакомились, авансов обычно не выдают. «Золотой старик! – украдкой шепнул мне на ухо Яша. – Держись

за него, не пропадешь». Мне месье Добер тоже понравился, хорошего человека видно сразу. Ему очень шла его фамилия. Добер – добрый.

Перемену в моей судьбе мы отметили тут же, в ресторане. Я порывался угостить Яшу, но Яша сказал, что аванс мне пригодится для других целей, и заплатил по счету сам. За обедом он дал мне много полезных советов, касающихся работы в ресторане месье Добера. У меня не было сомнений в том, что Яшу мне послал Бог.

Простившись с Яшей, я снова отправился в храм и долго благодарил Бога за все, что он для меня сделал. Затем я пришел домой и с огромным удовольствием объявил старой карге, у которой снимал комнату, что в субботу я от нее съезжаю. В ту ночь я не мог заснуть от счастья. Лежал и думал о том, как стану петь в ресторане месье Добера, как скоплю денег, как стану известным в Париже... О чем думает человек, которому после долгих мытарств вдруг повезло? Только об одном – чтобы ему повезло еще больше. Хочется же взять реванш за все былые невзгоды. У меня было такое ощущение, будто на этом Божьи милости не закончатся. Я не ошибся и в то же время ошибся. Милости оказались совсем не такими, как думалось мне.

Нет, то была не милость, а дар! Мой Божий дар (так мне тогда казалось) звали Зинойчкой Закитт. Она была латышкой, актрисой и приехала в Париж из Риги. Латышскую фамилию Закис Зинойчка переделала на французский манер, а

свое имя – в Женни. «Jenny Zakitt» смотрелось на афишах весьма эффектно.

Знакомство с Зиночкой придало смысл всем моим парижским мытарствам. Ведь если бы не в Париже, то где бы еще мы с ней могли встретиться? Я никогда не думал о том, чтобы отправиться выступать в Ригу, а Зиночка, как и большинство рижских артистов, выезжала на гастроли в Германию и Австрию и никогда не помышляла о Бухаресте.

Зиночка была прямой противоположностью Тове и вообще не походила на всех женщин, которые встречались мне раньше. Сейчас я пишу о той очаровательной девушке, которую встретил четверть века назад и с которой прожил шестнадцать лет, а не о совершенно чужой мне, враждебно ко мне настроенной женщине, которая в ненастный осенний день швыряла в меня всем, что попадалось под руку, кричала «Будь ты проклят! Ненавижу тебя!» и плевала мне в лицо в прямом смысле слова. А позже она приложила много усилий для того, чтобы восстановить против меня нашего сына, и добилась своего.

Бог ей судья. О плохом напишу после. Сначала – о хорошем, ведь сначала было хорошее. Только хорошее и много хорошего.

В Зиночке сочетались красота, ум, талант, деловая сметка и доброта. Этот набор достоинств весьма редко встречается в одном человеке. Обычно чего-то да не хватает. Она, подобно мне, была мастерицей на все руки. Пела, танцевала,

играла на разных инструментах, могла выступать как в драматическом, так и в комическом амплуа. У нас, эстрадных артистов, тоже есть амплуа, как и в театре. Одному лучше удается рассмешить публику, другому – растрогать ее. Старые артисты говорили: «выжать слезу». Но главным достоинством Зиночки в моих глазах был ее искренний интерес ко мне, к моей работе, к моим мечтам. С Товой все было иначе. Това интересовалась только собой и никем больше. Меня, признаюсь честно, это сильно уязвляло. Пока я был влюблен в Тovu, то пытался каким-то образом оправдать ее поведение в собственных глазах. Внушал себе, что она – женщина, а женщины привыкли к тому, чтобы все интересовались ими, сами же делают вид, что никем не интересуются, и пр. Но тем не менее я чувствовал себя уязвленным. Пренебрежение и невнимание всегда ранят, и ранят пребольно.

С Зиночкой мне было на удивление легко. Словами всего не выразить, да и не умею я выражаться прозой. Лучше – песней. Песня «Вернулась снова ты» посвящена Зиночке. В песне все не совсем так, как в жизни. В песне я пою о женщине, которая вернулась ко мне. Но на самом деле это песня не о вернувшейся женщине, а о вернувшейся ко мне любви.

*«Вернулась снова ты,
Вернула счастье мне.
Забуду мир с тобой наедине.
Конец томленьям всем,
И снова ты моя.*

*О, как страдал я
Без тебя.
Конец терзаньям всем,
И снова ты моя.
Забуду мир,
Тебя любя»*

Я в самом деле «забыл мир» с Зиной. Я был сам не свой от счастья. Бог послал мне не только любимую женщину, но и друга, понимающего верного друга, родственную душу. «Мы знакомы меньше месяца, а у меня такое чувство, будто я знаю тебя всю свою жизнь», – говорил я. «И у меня такое же», – отвечала мне Зина. Тогда мы были счастливы и верили, что так будет всегда. Когда все только начинается, всегда кажется, что это настоящее и это на всю жизнь. Но на самом деле судить о том, настоящее чувство пришло к тебе или нет, можно только по прошествии нескольких лет. Если чувства не угасают, а, напротив, крепнут, усиливаются, как это случилось у нас с Верочкой, то любовь настоящая. С Зиной же все было иначе. К сожалению. Со временем чувства не просто угасли, но у нее превратились в полную противоположность – любовь в ненависть. Она дважды, с разрывом в несколько лет, сказала, что ненавидит меня. Но то было позже.

В Париже Зина выступала в «Буль бланш». Это заведение пользовалось успехом у публики, но успех не отражался на заработках артистов, которым платили очень мало. Вла-

делец «Буль бланш» считал, что артисты должны почитать за счастье выступать в его замечательном заведении. Счастье счастьем, а заработок заработком. Я переговорил с месье Добером, заручился его согласием и предложил Зиночке выступать вместе со мной в ресторане. Она с радостью приняла мое предложение. Так родился наш дуэт «Пьер и Жени». После второго выступления я сделал Зиночке предложение (настолько я был тогда влюблен в нее), но она его не приняла. Зиночка сказала, что мы недостаточно хорошо знаем друг друга и попросила дать ей отсрочку, три месяца для размышления и проверки своих чувств ко мне. Я удивился. Зачем ждать? Чего ждать? Зачем проверять чувства? Мы же любим друг друга и оба понимаем, что нам хорошо вместе. Но настаивать я не стал, потому что три месяца – небольшой срок. Спросил только, могу ли я считать ее своей невестой. Зиночка рассмеялась и ответила, что могу.

Разумеется, я вольно или невольно сравнивал Зиночку с Товой, хотя ей самой ничего об этом не говорил. В сравнении с Товой Зиночка выигрывала по всем статьям. Я думал так: «Бог сперва дал мне вкусить горького, чтобы я лучше чувствовал вкус сладкого».

В апреле 1926 года произошло ужасное событие. Среди бела дня у себя в кабинете умер от апоплексического удара месье Добер. Метрдотель зашел к нему за распоряжениями и увидел, что он навалился грудью на стол и уже не дышит. Мнения работников ресторана разделились. Одни

говорили: «какая ужасная смерть», а другие: «какая легкая смерть». Сентиментальность французов порой принимает весьма причудливые, если не сказать – шокирующие формы. Вместо того чтобы печалиться об умершем, они со вкусом обсуждают обстоятельства его смерти, состояние дел, возможных наследников и прочие детали, не имеющие отношения к личности умершего. Что же касается нас с Зиной, то мы плакали и вспоминали все хорошее, что сделал для нас месье Добер. Его смерть была для нас большим ударом. Хороших людей не так уж и много, и потеря каждого хорошего человека – большое горе.

После смерти месье Добера выяснилось, что его ресторан, который всем нам казался процветающим, на самом деле таковым не был. Расходы существенно превышали доходы (как это обычно бывает у добрых людей), и на бедном владельце ресторана висело множество долгов. По этой причине ресторан закрылся, и все имущество было описано. Я никогда не понимал подобного поведения. По мне так кредиторам выгоднее было бы назначить управляющего, чтобы ресторан продолжал работать дальше, и получить свои деньги полностью за счет прибылей, чем продавать с молотка имущество и получать по пять сантимов на франк. Ведь ресторан месье Добера пользовался успехом у публики и при рачительном ведении дел мог приносить хорошую прибыль. Но было сделано так, как хотели кредиторы. После продажи имущества в помещении, которое занимал ресторан, открылся большой

меховой магазин.

«Париж не любит меня, – сказал я Зиночке после смерти месье Добера. – Теперь я окончательно в этом убедился. Давай уедем отсюда. Мне не хочется больше здесь оставаться». Зиночка согласилась со мной. Ей тоже не особенно понравился Париж. Осталось только решить, куда нам ехать. Зиночке не хотелось возвращаться в Ригу, а мне – в Бухарест. Я мечтал вернуться из Парижа в Бухарест знаменитым, разбогатевшим... Нет, я готов был ехать куда угодно, хоть к черту на кулички, но только не в Бухарест!

Через кишиневских знакомых я получил приглашение для меня и Зиночки выступить в варьете в Будапеште. Мы решили ехать. Будапешт так Будапешт. Мы уже готовились к отъезду, когда я случайно встретил в кафе братьев Левандовских, Яна и Юзефа, с которыми познакомился тремя годами раньше в Черновцах¹⁹. Левандовские были музыкантами, Ян играл на скрипке, а Юзеф на гитаре. В Черновцах вместе с ними выступала певица-цыганка Патрина, одна из самых красивых женщин, которых мне доводилось встречать. Левандовские и сами были больше похожи на цыган, нежели на поляков, – курчавые брюнеты с карими глазами и «горбатыми» носами. Наше знакомство в Черновцах было шапочным, но на чужбине, в Париже, мы обрадовались нашей встрече так, будто встретились лучшие друзья. Левандовские расска-

¹⁹ В 1918–1940 годах город Черновцы, как и вся Буковина, входил в состав Румынии.

зали мне, что на днях заключили выгодный контракт с театром в турецком городе Адане. Туркам захотелось иметь у себя «настоящее парижское варьете». Парижский импресарио по фамилии Мандель взялся исполнить это желание и собрал большую труппу, в которой недоставало, как выражались братья, «русского колорита». В то время Париж считался столицей русской эмиграции и без «русских» номеров невозможно было представить программу парижского варьете. Левандовские свели меня с Манделем. Тот предложил нам с Зиной годовой контракт на хороших условиях. «Адана – золотое дно! – убеждал меня Мандель. – он, может и проигрывает в сравнении с Парижем, как город, но как место для работы труппы выигрывает по всем статьям. В Париже развлечения на каждом шагу, заведения не знают, как им заманить к себе публику, а в Адане мы будем единственным варьете во всей провинции. Во всей провинции, вы только представьте себе это! Мы озолотимся за этот год! Вы еще уезжать оттуда через год не захотите, помяните мое слово!»

В Бухаресте ко всей Турции, за исключением Константинополя, относились как к глухой провинции, в которой совершенно нечего делать. У меня никогда не возникало мысли о том, чтобы отправиться на гастроли в Турцию. Но Мандель производил впечатление умного человека, который должен понимать, что он делает. И репутация у него была хорошая. Говорили, что Мандель своего не упустит, что у него

есть хватка и нюх. Величина труппы, а также то, что в нее входили опытные артисты, также свидетельствовало о том, что дело стоящее. Мы с радостью подписали контракт.

Время, оставшееся до отъезда (почти месяц), мы с Зиной провели с пользой. Брали уроки танца у самой Веры Трефиловой²⁰, чтобы отшлифовать свою технику. Оба мы были самоучками, которые, как было принято выражаться, «учились вприглядку», то есть смотрели, что делают другие, и повторяли за ними. Поучиться танцу у хорошего педагога мне давно хотелось, да все время что-то мешало. То некогда было, то нечем было платить за обучение. А тут сложилось так, что у нас было и время, и деньги. От Манделя мы получили крупный аванс и радовались этому, словно дети. Если бы знали, что больше от него никогда ничего не получим, то, конечно же, не радовались бы.

Накануне отплытия парохода, который должен был доставить нас в Константинополь, Зиночка увидела плохой сон. Будто бы мы с ней, оборванные и грязные, стоим на улице в каком-то незнакомом городе и со слезами на глазах просим подаяния.

«Чепуха! – бодро сказал я, когда Зиночка рассказала мне свой сон. – Мало ли что может присниться! Не снам надо верить, а в свою счастливую звезду. В нашу звезду!»

Мы тогда еще не были женаты, но у нас уже все было об-

²⁰ Вера Александровна Трефилова (1875–1943) – знаменитая русская балерина и балетный педагог, артистка Мариинского театра в 1894–1910 годах.

щим, нашим. В том числе и счастливая звезда. Одна на двоих. Мы были полны надежд. Мы были молоды. Мы были счастливы и смотрели на жизнь через розовые очки. Предложи нам кто отправиться в Австралию, так мы бы без особых раздумий отправились бы и туда. Многое из того, что у меня есть сейчас, я отдал бы за то, чтобы снова, хотя бы ненадолго, ощутить то умопомрачительное впечатление легкости бытия, которое свойственно молодости. Увы, того, что ушло, уже не вернуть. Можно только вспоминать о прошедшем, но пережить его заново нельзя.

Наши скитания по Востоку

Французы говорят: «Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait»²¹.

Если бы мы знали, чем закончится наш «выгодный контракт», то уехали бы в Будапешт или куда-то еще, но только не в Турцию.

Радостные и счастливые сошли мы с парохода и целый день удивлялись тому, что в Константинополе все не так, как в Европе. Восток! Восторг! Мы жадно впитывали новые впечатления. От их обилия кружилась голова.

На следующий день от наших восторгов не осталось и следа. Мандель получил телеграмму из Аданы, в которой говорилось, что театр, в котором мы должны были выступить, сгорел. Немного позже нам стали известны подробности. Оказалось, что приезд парижского варьете вызвал негодование у части местного населения, для которого слова «варьете» и «разврат» были синонимами. Разъяренная толпа противников нашего приезда устроила беспорядки, в ходе которых театр был сожжен. Мы радовались, что нас в тот момент не было в Адане, иначе бы нас могли сжечь вместе с театром или забросать камнями. Мандель рвал на себе волосы. За один день он постарел на десять лет.

²¹ «Если бы молодость знала, если бы старость могла» (франц.).

Положение наше было сложным. Деньги на обратную дорогу имелись не у всех. Да и куда ехать? Нас же, кроме проклятой Аданы, нигде не ждали. Хуже всего приходилось Манделю, который выплатил нам аванс, купил билеты до Константинополя и понес еще кое-какие расходы. Пока мы предавались унынию в незнакомом городе, который пугал нас после того, что произошло в Адане, Мандель подтвердил свою репутацию хваткого импресарио. Каким-то чудом, иначе и сказать нельзя, он за считанные дни нашел нам контракт в Смирне²². Пускай не годовой, а полугодовой и не на тех условиях, что были в Адане, но все же нам не пришлось возвращаться в Европу несолоно хлебавши.

После того что случилось в Адане, мы немного опасались ехать в Смирну, но приехавший за нами в Константинополь владелец варьете заверил нас, что в Смирне нам ничего не грозит. Варьете существует не первый год, и единственная уступка местным нравам заключается в том, что называется оно скромно – «рестораном».

Прежде чем перейти к рассказу о Смирне, в которой мы с Зиной наконец-то поженились, хочу сказать несколько слов о русских эмигрантах в Константинополе.

Эмигранты в то время были повсюду, от Парижа до Смирны, но константинопольские эмигранты сильно меня удивили своим бедственным положением. Если в Бухаресте или Париже большинство эмигрантов было хоть как-то устроено,

²² Ныне – город Измир.

то в Константинополе добрая половина нищих просила подаяния на русском языке. Некоторые, услышав русскую речь, подходили к нам не за подаянием, а за новостями. Вопросы у всех были одни и те же: «Откуда вы? Что слышно из России? Не думаете ли вернуться?» Мы с Зиной тогда не думали о возможности жизни в Советском Союзе, поскольку ее родная Рига и мой родной Кишинев находились за его пределами.

Тягостное впечатление производили константинопольские эмигранты. Мы сами тогда жили бедно, порой и впроголодь, но, глядя на них, чувствовали себя богачами.

После большого и шумного Константинополя Смирна показалась нам деревней. Некогда цветущая Смирна к 1926 году превратилась в захолустный город. Турки выжили оттуда греков, которых в Смирне всегда было много, они составляли здесь большинство населения. Вместе с греками город утратил свой европейский лоск. Шепотом нам рассказывали, что многих греков не изгнали из Смирны, а вырезали. Глядя на мирных улыбчивых турок невозможно было представить, что они способны на такие зверства. Впрочем, глядя на культурных немцев, тоже невозможно было представить, что настанет день – и эти люди превратятся в зверей. Мой кишиневский благодетель Иван Антонович говорил: «Во многих душах добро, что лед на реке, тонким слоем сверху лежит. А под ним – омут зла». Так оно и есть. Сколько живу, постоянно убеждаюсь в этом.

Владелец ресторана в Смирне Ахмед-ага тоже был греком, который ради того, чтобы сохранить свое имущество (а возможно, и жизнь), перешел в магометанскую веру. Переход этот был притворным, по существу сугубо деловым. Магометанские обычаи Ахмед-ага соблюдал только на людях. В нашем кругу он преспокойно пил вино, которое для магометан было запретным. Многие греки так поступали, меняли веру ради того, чтобы не лишаться всего, что у них было, самой жизни. На самом деле Ахмеда-агу звали Атанасом. Это был большой, веселый, добродушный человек. Но за его добродушием крылась восточная хитрость – хоть на грош, да надуть ближнего своего. Надуть не так, как надувают в Европе, а на восточный манер, с улыбкой, комплиментами, дружеским похлопыванием по плечу. Опыт общения с Ахмедом-агой сильно пригодился мне, когда мы покинули труппу и я стал заключать контракты самостоятельно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.